**Федор Михайлович Достоевский.**

**Дневник писателя. Сентябрь - ноябрь 1877 года**

------------------------------------------------------------------------

Оригинал находится здесь:["Неизвестные страницы Русской истории"](http://www.rus-sky.org/)

-------------------------------------------------------------------------

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

ПУБЛИЦИСТИКА И ПИСЬМА ТОМА XVIII-XXX

ИЗДАТЕЛЬСТВО "НАУКА"

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ЛЕНИНГРАД 1884

ТОМ ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Ежемесячное издание

1877

СЕНТЯБРЬ - НОЯБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "Н А У К А"

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ЛЕНИНГРАД

1984

СЕНТЯБРЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I. НЕСЧАСТЛИВЦЫ И НЕУДАЧНИКИ

Трудно представить себе более несчастных людей, как французские

республиканцы и их французская республика. Вот уже скоро сто лет тому, как

в первый раз появилось на свет это учреждение, и с тех пор каждый раз

(теперь уже в третий), когда ловкие узурпаторы конфисковали республику в

свою пользу, никто-то не вставал серьезно ее защищать, кроме какой-нибудь

кучки. Всенародной сильной поддержки ни в один раз не было. Да и в те

сроки, когда приходилось ей существовать, редко кто ее считал за дело

окончательное, а не переходное. Тем не менее нет людей, более убежденных в

сочувствии к ним страны, как французские республиканцы.

Впрочем, в первые две попытки создать во Франции республику, в прошлом

столетии и в 1848 году, всё же могли быть, особенно в начале попыток,

некоторые основания у тогдашних республиканцев рассчитывать на сочувствие к

ним страны. Но у нынешних, у теперешних республиканцев, - вот тех самых,

которых в самом скором времени предназначено конфисковать, вместе с их

республикой, кому-то в свою пользу, казалось бы, не могло быть никаких уже

надежд на твердую будущность, даже и в случае некоторого сочувствия к ним

страны (очень, впрочем, нетвердого, так как и существуют-то они теперь лишь

отрицательно, по пословице: на безрыбье и рак рыба). А между тем, накануне

почти верного своего паденья, они убеждены в полной победе. И однако, что

это за несчастные были люди и что за несчастная была эта последняя третья

республика, которую хоть и признал покойник Тьер, но именно как рака на

безрыбье! Вспомним только, как явилась эта третья республика на свет. Почти

двадцать лет эти республиканцы ждали "славной" минуты, когда рухнет

узурпатор и когда их опять "позовет страна". И что же случилось: захватив

власть после Седана, эти неудачники принуждены были взвалить себе на плечи

страшную войну, которой не хотели, но которою наградил их тот же узурпатор,

уезжая курить свои папироски в прелестный замок Вильгельмсгеге. И если

злился на них этот коварный узурпатор, гуляя по аллеям садов немецкого

замка, за то, что они захватили опять его власть, то наверно и усмехался

про себя, минутами, ехидной усмешкою, при мысли о том, как отомстил он им,

свалив на их слабые плечи свою вину. Потому что, как бы там ни было, а

все-таки Франция обвиняла потом скорее их, чем его, - по крайней мере,

более их, чем его, - в том, что они продолжали безнадежную войну, не сумели

замирить тотчас же как приняли власть, отдали две большие провинции, три

миллиарда, разорили страну, сражались неумело, распоряжались на авось,

беспорядочно и без контроля, в чем до сих пор обвиняют бывшего тогдашнего

диктатора Гамбетту, ни в чем, однако, не виноватого, а, напротив,

сделавшего всё, что только можно было сделать при страшных тогдашних

обстоятельствах. Одним словом, это обвинение в неумелости республиканцев и

в загублении ими страны держалось и держится даже теперь очень серьезно и

твердо. Пусть все понимают, что первая причина беды был император Наполеон,

"но они-то, дескать, зачем не сумели поправить дела, если взялись за него?

Мало того - испортили его как нельзя вообразить хуже" - вот обвинение! Мало

того: рядом с обвинением пало на них даже что-то презрительное и смешное

при мысли, в какой просак попались они в самом начале, как захватили

власть, и, однако, что другое они могли тогда сделать? Не принять этой

войны, замирить с самого начала по принятии ими власти после Седана, было

совсем невозможно: немцы и тогда потребовали бы уступки территории и денег,

и что же бы сталось с республиканцами, если б они замирили на таких

условиях? Их прямо обвинили бы в малодушии, в бесславии страны, в том, что

они, "имея еще армию", не сопротивлялись, а позорно сдались. Хорошо было бы

клеймо на их новой республике! А так как для них республика и ее

восстановление во Франции были гораздо дороже спасения страны, составляли

всё, то они и принуждены были воевать, почти явно предчувствуя, что придут

еще к большему позору в конце войны. Значит, и спереди был позор, и сзади

стоял позор - положение не только несчастное, не только трагическое, но в

некотором отношении даже и комическое, ибо не в таком совсем виде

воображали они воцариться после "тирана"!

Этот комизм усугубился еще более тем, что воцарились они все-таки с

самым легким сердцем, несмотря ни на что, то есть не то чтоб они не

горевали о Франции - о, между ними есть превосходные люди по чувствам и

даже истинные слуги отечества, в том случае, если оно будет называться

республикой. Даже, может быть, есть и такие, один или другой, которые даже

республику готовы поставить на второй план, была бы лишь счастлива Франция

(хотя вряд ли, впрочем, такие есть, именно разве один или другой, а не

больше). Но дело в том, что все-таки они, чуть лишь замирили с немцами и

расположились править страной уже на покое, как тотчас же вообразили себе,

что страна в них влюбилась бесповоротно и что это по крайней мере. Вот что

было комично! Решительно у всякого французского республиканца есть роковое

и губящее его убеждение, что достаточно только одного слова "республика",

достаточно лишь только назвать страну республикой, как тотчас же она станет

навеки счастливою. Все неудачи республики они всегда приписывают лишь

внешним мешающим обстоятельствам, существованию узурпаторов, злых людей, и

ни разу не подумали о невероятной слабости тех корней, которыми скрепляется

республика с почвой Франции и которые в целые сто лет не могли окрепнуть и

проникнуть в нее глубже. Сверх того, республиканцы ни разу еще в эти шесть

лет не подумали, что комическое положение их, унаследованное ими после

Наполеона III, всё еще продолжается и теперь и что если прошла старая беда,

то близится новая, подобная старой, которая непременно поставит их уже в

самое комическое положение, в такое, при котором они уже и держаться во

Франции будут не в состоянии, и это в самом ближайшем, может быть, будущем.

Этот грядущий комизм состоит в том, что эта будущая беда, всё так же, как и

прежняя, заключается в исполнении ими высокого долга службы отечеству

сознательно ему на пагубу, кроме того, всё так же, как и прежняя,

совершенно неотразима и составляет почти точь-в-точь такой же просак, в

какой они попались и в 1871 году, и, наконец, к довершению досады - всё так

же, как и прежняя беда, досталась им по наследству всё от того же Наполеона

III, которого они так ненавидят и которого память так проклинают. В самом

деле: кто теперь самый ревностный последователь французской республики и

самый сочувствующий учреждению ее человек в целом мире? Бесспорно, князь

Бисмарк. До тех пор, пока существует во Франции республика, невозможна

война "возмездия". Вообразить только, что республиканцы могли бы решиться

вновь объявить войну немцам! Князь Бисмарк это понимает. А между тем ясно

как день, что огромный, сорокамиллионный организм Франции не может

оставаться вечно в постыдной опеке Германии. Язвы залечатся, потрясение

забудется, прибудут новые силы, нарастет здоровье, создадутся средства,

войска, - и может ли страна, которая столь долго первенствовала между

нациями политически, - не захотеть опять прежней роли, прежнего положения в

Европе? Эта минута, может быть, теперь уже вовсе не далека; избыток

внутренних сил должен непременно стремить ее вырваться из опеки Бисмарка и

возвратить себе всю прежнюю независимость (теперь еще Францию никак нельзя

назвать независимою). И вот вся Франция, с первого нового шагу своего,

натолкнулась бы лбом на свою республику. Опять-таки повторю: вообразить

только, что теперешние республиканцы могли бы захотеть в чем-нибудь

сгрубить князю Бисмарку, и до того, чтоб даже рискнуть на войну с ним?

Во-первых, кто за ними и пойдет-то, если б даже сама Франция хотела войны,

а во-вторых, неизбежно представляющееся соображение: ну что если немцы их

опять разобьют? Ведь тогда уже конец республики во Франции окончательный,

потому что их же и обвинит Франция за неуспех и навеки уже прогонит, забыв,

что сама же захотела "возмездия" и первенствующего прежнего положения... А

скрепись республиканцы, не слушай новых голосов и криков, не объявляй

войну, - это значило бы идти против стремления страны, и тогда страна

опять-таки сместила бы их и отдалась бы первому явившемуся ловкому

предводителю. Одним словом, и сзади Седан и впереди Седан! Между тем они

наверно об этом совсем еще не начинали думать, несмотря на то, что новый

порыв страны, может быть, очень близок. Никогда не думали и о том, что в

сущности они не более как "протеже" князя Бисмарка и что Франция с каждым

годом ведь должна понимать это всё более и более, и именно по мере

восстановления и нарастания сил своих, а стало быть, и презирала бы их всё

более и более, сначала про себя и не столь отчетливо, а потом гораздо

отчетливее и, наконец, уже вслух, а не про себя только.

Но комического вида республиканцы не признают. Это люди патетические.

Напротив, именно теперь они ободрились, после того как Мак-Магон, президент

"республики", прогнал их с места и запер до новых, октябрьских выборов

палату. Теперь они "угнетенные", а потому и чувствуют себя в ореоле; они

ждут, что вся Франция вдруг запоет марсельезу и закричит: "On assassine nos

freres" (убивают братий наших!) - известный крик всех прежде бывших

парижских уличных революций, после которого толпы бросались обыкновенно

строить баррикады. Во всяком случае они ждут "законности", то есть что

страна, в негодовании на маршала Мак-Магона, наклевывающегося будущего

узурпатора, выберет вновь в палату всё прежнее республиканское большинство

да еще сверх того прибавит новых республиканских депутатов, и тогда вновь

собравшаяся палата скажет строгое veto маршалу, и тот, испугавшись

законности, подожмет хвост и стушуется. В силе этой "законности" они

непоколебимо уверены, - и не по скудости способностей, а потому, что эти

добрые люди слишком уж люди своей партии, слишком долго тянули всё одну и

ту же канитель и слишком долго просидели в одном углу. Они слишком долго

страдали за возлюбленную свою республику, а потому и уверены в возмездии. К

удивлению, и у нас в России многие наши газеты верят в их близкое торжество

и в неминуемую победу их "законности". Но чем обеспечена эта законность,

если Мак-Магон не удостоит ей подчиниться, о чем и объявил уже стране в

удивительном своем манифесте. Негодованием, гневом страны? Но маршал тотчас

же найдет многочисленнейших последователей в этой же самой стране, как и

всегда это бывало в подобных случаях во Франции. Что же тогда делать?

Баррикады строить? Но при нынешнем ружье и при нынешней артиллерии прежние

баррикады невозможны. Да Франция и не захочет их строить, если б даже и

действительно она хотела республики. Утомленная и измученная столетней

политической неурядицей, она самым прозаическим образом рассчитает, где

сила, и силе покорится. Сила теперь в легионах, и страна предчувствует это.

Весь вопрос, стало быть, в том: за кого легионы?

II. ЛЮБОПЫТНЫЙ ХАРАКТЕР

Об легионах, как об новой силе, грядущей занять свое место в

европейской цивилизации, я уже писал в май-июньском дневнике моем, то есть

задолго до манифеста маршала-президента, - и вот всё так и случилось, как

мне тогда показалось. В этом удивившем всех манифесте маршал хоть и обещает

следовать законности, обещает мир и проч., но тут же, сейчас же, прямо

говорит, что если страна не согласится с его мнением и пришлет ему с

предстоящих выборов прежнее республиканское большинство, то и он в свою

очередь принужден будет не согласиться с мнением страны и не подчиниться ее

выборам. Такой удивительный поступок маршала должен же чем-нибудь

мотивироваться. Не мог бы он говорить таким языком и тоном с страной

(Франция не деревня какая-нибудь), если б не был твердо уверен в силе и

успехе. А потому ясно уже теперь, что вся его надежда на армию, в которой

он совершенно уверен. И действительно, во время летних путешествий по

Франции маршала, его во многих, слишком, кажется, во многих городах и

провинциях встречали довольно двусмысленно, но армия и флот обнаружили

везде совершенную преданность и приветствовали маршала сочувственными

криками. Сомнения нет, что в добрых и даже, так сказать, неповинных

чувствах маршала нельзя сомневаться. Если он и поступил так не по обычаю,

прямо объявив вперед, что не послушается законного мнения страны, если та

сама его не послушается, то, конечно, лишь потому, что он желает,

по-своему, принесть стране благоденствие и уверен в том, что принесет его.

Итак, не в нравственных качествах маршала надобно сомневаться, а в

некоторых разве других... И действительно, маршал, кажется, один из таких

характеров, которые не могут не быть в чьей-нибудь опеке, и с этой стороны

характер этот представляет собою некоторые замечательные особенности.

Вопрос, например: для кого он теперь работает? Для кого так старается и для

кого так рискует? Сомнения нет, что он кругом в опеке, а между тем я уверен

в том (впрочем, это все-таки личное мое мнение), что лишь один он, во всей

Европе, даже до сих пор совершенно убежден, что он ровно ни в чьей опеке не

состоит, а действует сам по себе. Ловкие люди, овладевшие им, вероятно, и

поддерживают в нем сами это убеждение до времени и поддакивают ему изо всех

сил, между тем направляя его бесповоротно куда им угодно. Всё это, конечно,

потому, что они отлично знают свойства подобных характеров и их самолюбий.

Но таких ловких людей можно найти только в одной партии, правда, в

огромнейшей и в сильнейшей, - в клерикальной. Остальные все политические

партии во Франции не отличаются ловкостью. В самом деле, вопрос: если

маршал в опеке, то в чьей? Вот теперь совершенно известно, что бонапартисты

ужасно заволновались, что кандидатов они выставили множество, что сам

маршал покровительствует их кандидатам, что в победе на выборах они

уверены, уверены и в армии, что императорский принц уже переехал на

континент, говорили даже, что поедет в Париж. Но неужели, однако же,

поверить, что маршал Мак-Магон, столь уверенный в себе президент

"республики", берет на себя такую обузу хлопот и опасностей единственно,

чтоб воцарить императорского принца? Мне кажется (и опять-таки это

совершенно личное мое мнение), мне кажется, что нет. Разве, впрочем, есть

там совершенно особые какие-нибудь комбинации, - например, какой-то слух,

пронесшийся по газетам, с месяц назад, что императорский принц будто бы

помолвлен с дочерью маршала и проч. Но если нет таких особенных секретных

комбинаций, если особенных соглашений и договоров еще не существует, то мне

кажется, что маршал наклонен скорее осчастливить страну в свою пользу, чем

в чью-нибудь; и если поддерживает бонапартистских кандидатов, то уверенный,

что они все-таки всех надежнее, а что всех их потом он направит как ему

угодно. Бог знает какие у подобного ума могли зародиться мысли. Недаром же

один епископ, в приветственной речи маршалу, уже вывел ему, что он

происходит по женской линии от Карла Великого. Одним словом, несколько лет

президентства, может быть, действительно заронили в душу его некоторые

раздражающие и фантастические впечатления. К тому же это и военный человек.

Впрочем, все эти рассуждения лишь мечтательные попытки разъяснить

загадочный характер. Истина же пока в том, что маршал в руках клерикалов и

что они его направляют, хотя он и, без сомнения, думает, что это он их

направляет и что они в руках его, а не он в их руках. Но они, конечно, уж

не в его руках, и судьба Франции, в настоящий момент, решительно, кажется,

зависит от них и от них одних. Сомнения нет, что всё еще продолжается

страшная подземная интрига, и хотя вся Европа давно уже, и с самого начала,

знала, что клерикалы в настоящем западноевропейском движении играют большую

роль, но, кажется, те все-таки до сих пор скрывают и успели скрыть, какого

объема и какой силы эта их роль, лавируют и прячутся за других до времени,

за маршала, например, за бонапартистов, и так продолжится дело до тех пор,

пока они не достигнут задуманной цели. В сущности им всё равно: маршал ли

успеет или императорский принц. Симпатий личных у них нет и не должно быть.

Для них лишь задача одна: чтоб Франция как можно скорее обнажила свой меч и

ринулась на Германию. И вот для этой-то цели они и раздавили

республиканцев, неспособных стать за папу. Теперь же тихо и ловко выжидают:

за кем будет больше шансов? Если действительно императорский принц

представит им больше шансов в способности объявить войну, то, может быть,

они и за него уцепятся и проведут его в Париж, уже не думая о Мак-Магоне.

Но пока они, кажется, всё еще держатся маршала. Кстати, недавно еще,

говорят, маршал, в разговоре, вслух упомянул: "Про меня распространяют, что

я хочу уничтожить республиканские учреждения, и забывают, конечно, что я,

принимая президентство республики, дал слово их сохранить". Слова эти могут

подтвердить вполне догадку о нравственной невинности маршала, несмотря на

все обвинения республиканцев. Как честному и военному человеку, ему, стало

быть, дорого его честное слово, и, уж конечно, он ему не изменит. Но если

он сохранит республику и в то же время прогонит республиканцев, то, значит,

имеет в виду продолжать республику без республиканцев. Надо думать, что

такова действительно политическая программа его и что его уверили, что она

совершенно возможна. Эта программа, вместе с тезисом: J'y suis et j'y reste

(сел и не сойду), составляет, очевидно, цикл всех его политических

убеждений вплоть до 1880-го года, когда кончается срок его президентству, а

стало быть, и честному слову его. Но тогда уже начнется мечта: "Благодарная

страна, видя, что он оставляет президентство, предложит ему, за спасение ее

от демагогов, другую новую должность, ну хоть Карла Великого, и тогда всё

пойдет опять как по маслу". Само собою при этом, что движущие его хитрые

люди, в том случае, если он в самом деле пожелает исполнить свое честное

слово и сохранит республиканские учреждения, променяют его тотчас же на

Бонапарта, если сохраненная республика, хотя бы и без республиканцев,

помешала их дальнейшим планам. Ввиду того они, кажется, и склонили его, на

всякий случай, поддерживать бонапартистские кандидатуры, уверив его, что

это для него хорошо. Во всяком случае, он продолжает быть в такой твердой

опеке, что уже из нее не выскочит. Одним словом, мир ожидают какие-то

большие и совершенно новые события, предчувствуется появление легионов,

огромное движение католичества. Здоровье папы, пишут, "удовлетворительно".

Но беда, если смерть папы совпадет с выборами во Франции или произойдет

вскоре после них. Тогда Восточный вопрос может разом переродиться во

всеевропейский...

III. ТО ДА НЕ ТО. ССЫЛКА НА ТО, О ЧЕМ Я ПИСАЛ ЕЩЕ ТРИ МЕСЯЦА НАЗАД

Я изложил эту мысль мою довольно подробно в летнем май-июньском

"Дневнике" моем, но на главное место этой статьи моей, то есть что весь

ключ теперешних и грядущих событий всей Европы лежит в католическом

заговоре и в предстоящем, несомненном и огромном движении католичества,

совпадающем с чрезвычайно близкою, по всей вероятности, смертью папы и

выбором папы нового, - на это главное место статьи моей, кажется, никто не

обратил внимания, и статья прошла (в печати) бесследно.

Между тем теперь я еще сильнее и увереннее держусь того же мнения, чем

два месяца назад. С тех пор было столько событий, подтвердивших мне мою

догадку, что я уже не могу сомневаться теперь в ее справедливости. С тех

пор и газеты, наши и иностранные, стали поговаривать как будто на эту же

тему, но всё еще как бы не решаясь проговорить окончательный вывод. Вот что

говорили недавно "Московские ведомости" в превосходной передовой статье

своей ("Московские ведомости" Љ 235). Они цитируют, между прочим, мнение

корреспондентов английских газет:

"Корреспонденты английских газет пускаются в весьма откровенные

объяснения. Ключ европейской политики, по их толкованию, в руках Германии,

и Германия именно расположена еще тверже держаться России, чем прежде, по

расчетам весьма понятным. Во-первых, в Берлине увидели, что неудачи русской

стратегии оживили и ободрили Австрию, которая, как полагают, все еще питает

некоторую досаду против Пруссии. Затем, главные враги Германии - Франция и

католицизм, и обе эти силы всё свое сочувствие отдают на сторону Турции. В

начале восточных замешательств Франция, правда, несколько кокетничала с

Россией, но если тогда и было в стране некоторое сочувствие к нам, то оно

теперь не только охладело, но совершенно повернулось на сторону турок. Что

касается воинствующего католицизма, то он не только теперь, но и с самого

начала решительно и со страстью, как всем известно, взял под свою защиту

правоверную Турцию против схизматической России. Неприличие рьяных

клерикалов дошло до того, что один из них отзывался с некоторою нежностью о

Коране, так что даже ультрамонтанская "Germania" нашла нужным умерить

подобные выходки замечанием, что хотя и должна радоваться победам турок над

ненавистными русскими, но неловко выражать прямо сочувствие исламу. Так как

mot d'ordre1 католицизма замечательно совпадает с переменой общественного

мнения Франции в пользу турок и так как Австрия, тоже католическая, имеет

интересы противные России, то в Берлине естественно опасаются возможности

такой католической и антипрусской лиги, в которую могли бы потом быть

привлечены ультрамонтанские и сепаратистские интересы южной Германии и

"даже Англия". Так толкуют английские корреспонденты, но несомненно, что

Англии принадлежит главная роль в интригах.

Итак, мы по-прежнему остаемся наедине с Турцией".

Всё это превосходно, и, однако, всё еще это не то, не настоящее

объясняющее и последнее слово, которое, к удивлению, никто как будто не

хочет высказать, даже как будто еще и не предчувствует в надлежащей

полноте. В этой статье заговорили, однако, уже и о воинствующем

католицизме, и о значении католицизма в глазах Бисмарка, и о теперешнем

влиянии его на Францию, и, наконец, даже о лиге, о том, что в Берлине

естественно опасаются возможности такой католической и антипрусской лиги, в

которую могли бы потом быть привлечены ультрамонтанские и сепаратистские

интересы Южной Германии и "даже Англия". Но вот об лиге-то, об заговоре-то

католическом я и говорил еще два месяца с лишком перед тем, как теперь

заговорили, но я сказал тогда и последнее заключительное слово мое, то есть

что в заговоре-то этом всё дело и заключается, что от него теперь всё в

Европе и зависит и что даже самая Восточная война может в самом скором

времени обратиться в всеевропейскую, единственно вследствие этого огромного

заговора умирающего римского католичества. Между тем в этих "мнениях

корреспондентов" и во всей превосходной статье "Московских ведомостей" всё

еще как будто и. не хотят допустить эту мысль и даже вместо того

утверждают, что "Англии, несомненно, принадлежит главная роль в интригах" и

что мы "по-прежнему остаемся наедине с Турцией". Но так ли это? Наедине ли?

Не предстоит ли, напротив, в самом ближайшем будущем, что мы вдруг очутимся

не наедине с Турцией, а наедине со всей Европой.

В самом деле, что же такое этот "воинствующий католицизм", который

начали уже замечать и признавать все в настоящих событиях, откуда такая

воинственность, и даже "до страсти", с которою католицизм взял под свою

"защиту" правоверную Турцию против схизматической России? Неужто всё из-за

того только, "что Россия страна схизматическая"? Католичеству в настоящее

время столько хлопот и насущных забот, что обо всех этих древних церковных

препираниях ему некогда бы и думать. А главное, откуда эта "лига

католическая", которой так боятся в Берлине? Вот об этом-то обо всем я и

распространился два с лишком месяца назад, желая объяснить это. И вывод мой

был тот, что эта лига, которую теперь уже признают и другие, есть твердый и

строго организованный католический заговор в видах обновления римского

светского владычества, существующий в настоящую минуту во всей Европе, что

заговор этот будет иметь громадное влияние на все текущие события Европы и

что, стало быть, ключ ко всем современным интригам лежит не там и не здесь,

и не в одной только Англии, а именно в этом несомненном всемирном

католическом заговоре!

Воинствующий католицизм берет яростно "и со страстью" против нас

сторону турок. И даже в Англии, даже в Венгрии нет столь яростных

ненавистников России в настоящую минуту, как эти воинствующие клерикалы. Не

то что какой-нибудь прелат, а сам папа, громко, в собраниях ватиканских, с

радостию говорил "о победах турок" и предрекал России "страшную

будущность". Этот умирающий старик, да еще "глава христианства", не

постыдился высказать всенародно, что каждый раз с веселием выслушивает о

поражении русских. Эта страстная ненависть станет совершенно понятною, если

признать, что римское католичество действительно теперь "воинствует" и

действительно на деле, то есть мечом, ведет теперь в Европе войну против

страшных и роковых врагов своих. Но кто теперь в Европе самый страшный враг

римского католичества, то есть светской монархии папы? Бесспорно, князь

Бисмарк. Самый Рим был отнят у папы в ту самую минуту величия Германии и

Бисмарка, в которую Германия раздавила главного тогдашнего защитника

папства, Францию, и тем тотчас же развязала руки королю итальянскому,

немедленно и занявшему Рим. С тех пор вся забота католичества состояла в

том, чтоб отыскать врага и соперника Германии и князю Бисмарку. Сам же

князь Бисмарк, с своей стороны, отлично понимает, во всей широте, и давно

уже, что римское папское католичество, кроме того что есть вечный враг

протестантской Германии, столько веков протестовавшей против Рима и идеи

его во всех ее видах и против всех союзников ее, покровителей и

последователей, но и понимает сверх того, что католичество есть именно

теперь, то есть в самую важную минуту для объединенной Германии, - самый

вреднейший элемент из всех мешающих этому объединению ее, то есть

завершению здания, над которым во всю жизнь так много потрудился князь

Бисмарк. И кроме того, что в Берлине опасаются "возможности" такой

католической и аптипрусской лиги, в которую могли бы потом быть привлечены

ультрамонтанские и сепаратистские интересы южной Германии, - в Берлине,

кроме того, опасаются, и давно уже предвидели, что католичество, рано ли,

поздно ли, а непременно послужит поводом к будущему подъему Франции на

унизившую, победившую и разорившую ее Германию, и что повод этот римское

католичество подаст первее и скорее всех других, и что, стало быть, самая

важнейшая опасность объединенной Германии кроется именно в римском

католичестве, а не в чем другом. И берлинское предвидение это выходило из

естественно представлявшегося и естественно необходимого соображения, что,

во-первых, во всем мире у папства нет теперь другого защитника кроме всё

той же Франции, что на ее лишь меч она единственно может рассчитывать, если

только этот меч она успеет опять твердо захватить в свою руку, и,

во-вторых, что римское католичество есть еще далеко не раздавленный враг,

что враг этот тысячелетний, что жить этому врагу хочется страстно, что

живучесть его феноменальна, что сил у него еще множество и что столь

огромная историческая идея, как светская папская власть, не может угаснуть

в одну минуту. Одним словом, в Берлине не только сознали врага, но и силу

его. В Берлине не презирают врагов своих прежде боя.

Но если католичеству так хочется жить, и надобно жить, и если меч,

который мог бы его защитить, лишь в руках одной Франции, то выходит ясно,

что Рим и не упустит из рук Францию, особенно если дождется удобной минуты.

Эта удобная минута наступила весною, - это русская война с турками,

Восточный вопрос. В самом деле: кто главнейший союзник Германии?

Разумеется, Россия. Это отлично понимают в Риме. Вот почему так и

обрадовался папа русским "неудачам": значит, главнейший союзник самого

страшного врага папской власти отвлечён теперь от своего исконного

союзника, Германии, войной, а стало быть, Германия теперь одна, - стало

быть, и наступила именно та минута, которую так давно ожидало католичество:

когда же, как не теперь, всего удобнее разжечь застарелую ненависть и

бросить Францию в войну возмездия на Германию?

К тому же как раз подходят и другие роковые сроки для католичества,

так что медлить уже нельзя ему ни минуты. Приближается неизбежно скорая

смерть папы и избрание нового, и в Риме слишком хорошо знают, что князь

Бисмарк употребит весь свой ум и все свои силы, чтобы нанести последний и

самый страшный удар папской власти, повлияв из всех сил на избрание нового

папы, но так, чтобы обратить его из светского владыки и государя не более

как в простого патриарха, и если можно, то с его же и согласия, и таким

образом, разделив католичество на две враждебные части, добиться его

падения и разрушения всех замыслов, претензий и надежд его уже навеки. А

потому как же ему не спешить против Бисмарка всеми мерами? И вот,

опять-таки, как раз тут подвертывается Восточный вопрос! О, теперь уже

можно приискать для Франции и союзников, которых она нигде столько лет не

могла найти, теперь можно сплотить даже целую коалицию. Пусть вся Европа

обольется кровью, но зато восторжествует папа, а для римских исповедников

Христа это всё.

Вот они и начали работать. Прежде всего, разумеется, надо было

добиться, чтобы Франция стала за них. Как это сделать? Они уже сделали.

Теперь уже все политики Европы и вся европейская печать признают, что

майский переворот во Франции произведен клерикалами, но, опять-таки,

повторю, все как будто еще не признают за этим фактом того основного

значения, которое он заключает в себе. Все как будто решили, месяца четыре

назад, что клерикалы произвели переворот во Франции для того только, чтобы

получить себе в ней более простору, известные выгоды, льготы, расширение

прав. Тогда как невозможно и представить себе, чтобы переворот был затеян

не с самыми радикальными целями, то есть чтобы добиться (в видах близких

смут, по смерти папы, в римской церкви) скорейшей и неотложной войны

Франции с Германией, именно войны! И увидите, чем бы ни кончилось дело, а

они добьются своего, добьются войны, в которой, если восторжествует

Франция, то, может быть, и папа добьется вновь светской власти.

Они сделали удивительно ловкое дело и, главное, выбрали такую минуту,

когда всё как будто сошлось для их успеха. Начать им надо было с того,

чтобы прогнать республиканцев, которые ни за что бы не поддержали папу и

никогда бы не решились на войну с Германией. Они их прогнали. Надо было,

сверх того, заставить маршала Мак-Магона сделать непоправимую ошибку

(именно непоправимую), чтобы направить его уже на бесповоротный путь; он и

сделал эту ошибку: он прогнал республиканцев и объявил на всю Францию, что

они уже не воротятся. Итак, начало уже положено твердое, и клерикалы пока

спокойны; они знают, что если Франция пришлет опять в палату

республиканское большинство, то маршал отошлет его назад. Гамбетта объявил,

что маршалу придется или покориться решению страны, или оставить место. Так

решили за ним и все республиканцы, но они забыли, что девиз маршала: J'y

suis et j'y reste (сел и не сойду), и он не сойдет с места. Ясно, что вся

надежда маршала на преданность легионов. Преданностью же легионов маршалу

или кому бы там ни было хотят воспользоваться и клерикалы. Был бы только

окончательно завершен для них государственный переворот, а они уже его

направят по-своему. Вероятнее всего, что так и сбудется: они будут подле

узурпатора, они будут направлять его. А если бы даже и не были, то дело

даже и без них пошло бы теперь уж само собою, благо, на настоящую точку ими

поставлено, совершился бы только государственный переворот: они знают,

какое колоссальное впечатление произведет на князя Бисмарка всякая

государственная перемена во Франции. Он еще в 1875 году стремился объявить

войну Франции, боясь ее каждогоднего усиления. Республиканцы, которых он

протежировал, не посмели бы начать с ним войну сами ни под каким бы даже

предлогом, и отчасти он был спокоен доселе, видя их во главе враждебного

государства, несмотря даже на каждогоднее усиление его. Но зато всякий

новый переворот во Франции естественно заставит его до крайности

взволноваться. И в какую минуту: когда Германия оставлена без естественного

своего союзника, России, когда Австрия (тоже старый соперник Германии), в

которой так много враждебных Германии католических элементов, так вдруг

сознала себе всю цену и когда Англия, с самого начала Восточной войны, с

таким раздражительным нетерпением ждет и ищет себе в Европе союзника! Ну

что если Франция, - должны рассуждать в Берлине, - с своим будущим новым

правительством во главе и около которого снуют клерикалы, направляют его и

владеют им, - что если Франция вдруг догадается, что если уже быть войне

возмездия, то никогда она не найдет более удобной минуты, как теперь, чтобы

начать ее, и таких значительных союзников, как теперь, чтобы поддержать ее!

А что если как раз к тому случаю умрет папа (что так возможно)? Что если

клерикалы заставят новое французское правительство заявить князю Бисмарку,

что взгляды его на избрание нового папы с мнением Франции не согласны (а

это уж непременно случится, если будут прогнаны республиканцы)? Что если

новое французское правительство при том догадается, что если ему удастся (в

видах возможности найти в Европе могучих союзников) отвоевать хоть одну из

отнятых у Франции в 1871 году провинций, то этим оно упрочит свою власть и

влияние в стране, по крайней мере, лет на двадцать? Нет, как тут не

волноваться!

А, главное, тут и еще одно маленькое обстоятельство: немец заносчив и

горд, немец не потерпит непокорности. До сих пор Франция была в полной и

послушной опеке Германии, давала отчет на запросы ее чуть не в каждом

движении своем, должна была объясняться и извиняться за каждую прибавленную

дивизию в войске, за каждую батарею, и вдруг теперь эта Франция осмелится

поднять голову! Так что клерикалы, пожалуй, смело могут рассчитывать, что

чуть ли не сам князь Бисмарк первый и начнет войну. Хотел же он ее начать в

1875 году. Не начать войну значит упустить из рук Францию уже навеки.

Правда, в 1875 году было не то, что теперь, но если Австрия будет на

стороне Германии, то... Одним словом, в недавнем свидании верховных

министров Германии и Австрии, вероятно, говорили не об одном лишь Восточном

вопросе. И если есть теперь в мире государство в самом выгодном

внешнеполитическом положении, то это именно Австрия!

IV. О ТОМ, ЧТО ДУМАЕТ ТЕПЕРЬ АВСТРИЯ

Но скажут: в Австрии волнения, половина Австрии не хочет того, чего

хочет ее правительство. В Венгрии манифестации. Венгрия так и рвется против

русских за турок. Открыт какой-то даже заговор, англо-мадьяро-польский. С

другой стороны, славянские элементы ее территории хоть и за правительство в

настоящую минуту, но и на них правительство Австрии посматривает косо и

подозрительно, даже, может быть, косее, чем на венгерцев. А если так, то

можно ли сказать, что Австрия, в данную минуту, в самом выгодном

политическом положении, в каком только может находиться европейское

государство?

Да, это правда. Правда, что католическая работа идет несомненно и в

Австрии. Клерикалы дальновидны, им ли не понять теперешнего значения этой

страны, им ли упустить случай. И уже, разумеется, они не упускают случая

разжечь в этой католической и "христианнейшей" земле всевозможные волнения,

под всевозможными до неузнаваемости предлогами, видами и формами. Только

вот что: кто знает, может быть в Австрии, хотя и делают, конечно, вид, что

очень сердятся на эти волнения, но в сущности, пожалуй, и не очень на них

сердятся, может быть, даже совсем напротив: берегут эти волнения на всякий

случай в видах того, что они могут пригодиться в ближайшем будущем... Всего

очевиднее, впрочем, то, что Австрия, хотя и чувствует себя в самом

счастливом политическом положении, но, в видах текущих событий, на дальнюю

и очень определенную политику еще, может быть, не решилась, а только еще

присматривается и ждет: что повелит ей сделать благоразумие? Если же и

решилась на что-нибудь, то разве на политику ближайшую, да и то условно.

Вообще она в самом блаженном состоянии духа, решается не спеша, ждет, зная,

что ее все ждут и что все в ней нуждаются, прицеливается на добычу, которую

выбирает сама и сладостно облизывается в видах близких и уже неминуемых

благ.

На недавних свиданиях канцлеров обоих немецких государств, может быть,

очень много было затронуто "условного". По крайней мере, австрийским

правительством было уже объявлено у себя во всеуслышание, что ничто на

Востоке не произойдет и не разрешится вне интересов Австрии, - мысль

чрезвычайно обширная. Таким образом, даже и не дотронувшись до меча,

Австрия уже уверена, что будет иметь знатное участие в русских успехах,

если таковые окажутся, и, может быть, еще знатнейшее, если таковые совсем

не окажутся. И это еще следуя только ближайшей политике! А в дальнейшей?

Все уже и теперь так в ней нуждаются, ищут ее мнения, ее нейтралитета,

обещают, дарят уже ее, может быть, и это только за то, что она сидит и

говорит: "Гм". Но не может же эта держава, столь сознающая, конечно, теперь

себе цену, не рассчитывать и на шансы дальнейшей своей политики, которая

никому еще не известна, несмотря даже на дружеские свидания канцлеров, я

уверен в том. Уверен даже, что до самого последнего и самого рокового

момента эта политика никому не будет известна - что будет совершенно по

преданиям и традициям исконной политики Австрии. И жадно, жадно, может

быть, теперь присматривается она к Франции, ждет судьбы ее, ждет новых

интереснейших фактов, и, главное, в самом самодовольнейшем расположении

духа. Но нельзя ей, однако, и не волноваться: может быть, очень скоро

придется ей решиться даже на самую дальнейшую политику и уже бесповоротно:

волнение, конечно, в ее положении приятное, но сильное. Ведь понимает же

она, и, может быть, очень тонко, что при всяком теперешнем перевороте во

Франции (столь близком и столь возможном), при всяком даже новом

правительстве во Франции (только бы не опять республиканском), шансы

столкновения Германии с Францией решительно неизбежны, и даже в том случае,

если б новые правители Франции и сами не пожелали войны, а, напротив,

стремились бы изо всех сил сохранить прежний мир. О, Австрия, может быть,

лучше всех способна постигнуть, что есть такие моменты в жизни наций, когда

уже не воля и не расчет их влекут к известному действию, а сама судьба.

Я позволю себе теперь вдаться в одну фантастическую мечту (и, конечно,

только мечту). Я позволю представить себе, как думает Австрия, в настоящую

горячую и неопределенную минуту, об этой самой своей дальнейшей политике,

на которую она, конечно, еще не решилась, так как и факты не все еще ясно

обозначились, но, однако, кто-то уже стучится в дверь, она видит это,

кто-то непременно хочет войти, даже и ручку замка уже повернул, но дверь

еще не отворилась, и кто войдет, еще никому не известно. Во Франции

загадка, там она и разрешится, а пока Австрия сидит и думает, да и как ей

не думать; если обнажатся мечи, если Германия и Франция бросятся друг на

друга уже окончательно, то за кого она тогда станет, с кем она тогда будет?

Вот самый дальнейший вопрос, а между тем так скоро, может быть, придется ей

дать на него ответ!

Так как же ей не знать теперь себе цену: ведь за кого она вынет меч,

тот и восторжествует. Что говорено на свидании канцлеров обеих немецких

империй, никому не известно, но намеки-то между ними уж наверно были. Как

не быть намекам. Может быть, и яснее что-нибудь было сказано и предложено,

чем только намеки. Одним словом, подарков и гостинцев обещано ей множество,

и это несомненно, так что она совершенно уверена, что останься она в союзе

с Германией, в случае войны ее с Францией, то получится за это... много. И

всего только за какой-нибудь нейтралитет, за то только, что посидит

какие-нибудь полгода смирно на месте, в ожидании награды за доброе свое

поведение, - вот что ведь всего приятнее! Потому что деятельного участия ее

против Франции, я думаю, никакому канцлеру от нее не добиться, уж

Австрия-то такой ошибки не сделает: не пойдет она добивать на смерть

Францию, напротив, может быть, защитит ее в самую последнюю роковую минуту

дипломатическим предстательством и тем обеспечит себе и еще награду. Нельзя

же ей остаться совсем без Франции в дружеских объятиях у такого гиганта, в

какого вырастет, после второй победы над Францией, Германия. Пожалуй, вдруг

обнимет ее потом гигант, да так сожмет, невзначай, разумеется, что раздавит

как муху. А тут еще и другой восточный гигант, направо у ней, встанет

наконец совсем с своего векового ложа...

- "Хорошее поведение хорошая вещь, - может быть, думает теперь про

себя Австрия, - но ...". Одним словом, в воображении ее не может не

мелькнуть и другая мечта, самая, впрочем, фантастическая:

"Переворот во Франции может начаться даже нынешней осенью, и, может

быть, скоро, очень скоро кончится. Если пропадет республика или останется в

каком-нибудь номинально-нелепом виде, то, может быть, зимою же успеют

произойти с Германией несогласия. Клерикалы об этом уж постараются, тем

более, что папа наверно умрет к тому времени, и тогда избрание его тотчас

же подаст предлог к недоразумениям и столкновениям. Но и не умри папа,

возможность недоразумений и столкновений останется во всей силе. И если

только Германия твердо решится, то к весне же и начнется война. На другом

конце Европы зимняя кампания против Турции, кажется, тоже неизбежна, так

что союзник Германии к весне всё еще будет занят. Итак, если загорится

война возмездия, то Франция тотчас же найдет двух союзников: Англию и

Турцию.

Германия, стало быть, будет одна... с Италиею, то есть почти всё равно

что одна. О, конечно, Германия заносчива и могуча. Но ведь и Франция успела

оправиться: у ней войска миллион, и всё же Англия хоть какая-нибудь да

помощь: надо будет охранять от ее флота немецкие приморские города, стало

быть, все же оставить войско, артиллерию, оружие, припасы. Всё же это хоть

чем-нибудь да ослабит Германию". "Одним словом, шансов, чтоб сразиться с

успехом, у Франции и без меня довольно, - думает Австрия, - по крайней

мере, вдвое больше, чем было в семидесятом году, так как Франция наверно не

сделает теперь тогдашних ошибок. Затем, разбита ли будет Франция или нет, а

я все-таки мое получу на Востоке: ничто на Востоке не разрешится в

противность интересам Австрии. Это уже решено и подписано. Но... что, если

я, в самую-то решительную минуту, благоразумно сохранив за собой всю

свободу решения, возьму да и стану за Францию, да и меч еще выну!"

В самом деле, что тогда выйдет? Австрия очутится разом между тремя

врагами: Италией, Германией и Россией. Но Россия будет страшно занята своей

войной и ей будет не до нападений, Италии можно во всяком случае не очень

уж бояться. Остается одна Германия, но если она и вышлет на Австрию силу,

то хоть и ослабит тем себя, но, уж конечно, не очень большую силу, потому

что ей понадобятся все силы ее на Францию. В самом деле, решись только

Австрия на союз с Францией, и Франция бросится на Германию, может быть, уж

сама первая, если б даже Германия и не захотела драться. Франция, Австрия,

Англия и Турция против Германии с Италией - это страшная коалиция. Успех

очень и очень может быть возможен.

А при успехе Австрия может вдруг воротить всё утраченное при Садовой,

даже ух как более того. Затем на Востоке выгод своих и всего уже ей

обещанного она тоже никак не потеряет. А главное, несомненно выиграет в

своем влиянии в католической Германии. Будь побеждена Германия, даже и не

побеждена, а только воротись она не совсем удачно с войны, - и единство

Германии сильно и вдруг покачнется. В южной католической Германии явится

сепаратизм, о котором, сверх того, постараются изо всех сил клерикалы и

которым Австрия, уж конечно, воспользуется... даже до того, что, может

быть, явятся тогда две Германии, две объединенные германские империи,

католическая и протестантская. А засим, усилившись тогда немецким

элементом, Австрия могла бы посягнуть и на свой "дуализм", поставить

Венгрию в прежние, древние и почтительные к себе отношения, а затем,

разумеется, распорядиться уж и с своими славянами, и этак как-нибудь уже

навеки. Одним словом, выгоды могли бы быть неисчислимы! Даже и в том,

наконец, случае, если Германия останется победительницей, может быть, не

будет еще такой беды, так как не может же она победить такую сильную

коалицию так окончательно, как в 1871 году, а, напротив, наверно сама

натрет себе бока. Стало быть, мир может быть заключен без особенно страшных

последствий. "Итак, за кого же стать? Где лучше, с кем выгоднее?"

Ввиду настоящего хода дел в Европе такие радикальные вопросы про себя

- в Австрии несомненны...

V. КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ? КТО ВОЙДЕТ? НЕИЗБЕЖНАЯ СУДЬБА

Когда я начинал эту главу, еще не было тех фактов и сообщений, которые

теперь вдруг наполнили всю европейскую прессу, так что всё, что я написал в

этой главе еще гадательно, подтвердилось теперь почти точнейшим образом.

"Дневник" мой явится в свет еще в будущем месяце, 7-го октября, а теперь

всего 29 сентября, и мои, так сказать, "прорицания", на которые я решился в

этой главе, как бы рискуя, окажутся отчасти уже устарелыми и совершившимися

фактами, с которых я скопировал мои "прорицания". Но осмелюсь напомнить

читателям "Дневника" мой летний май-июньский выпуск. Почти всё, что я

написал в нем о ближайшем будущем Европы, теперь уже подтвердилось или

начинает подтверждаться. И, однако, я слышал тогда еще мнения о той статье:

ее назвали (правда, частные люди), "исступленным беснованием",

фантастическим преувеличением. Над силою и значением клерикального заговора

просто смеялись, да и заговора совсем не признавали. Я, впрочем, еще недели

две всего тому назад слышал мнение от "компетентного" лица, что факт смерти

и избрания нового папы совершенно ничтожен и пройдет в Европе бесследно. Но

даже теперь уже известно, какую важность придает ему Бисмарк и об чем было

говорено в Берлине с Криспи. Я написал в май-июньском "Дневнике" моем, что

гений князя Бисмарка постиг еще с самой франко-прусской войны, что самый

страшный враг новообъединенной Германии есть римский католицизм, который

прежде всего послужит предлогом к великой войне "возмездия", которая и

охватит всю Европу. Это нашли нелепым, и проч. и проч. И это всё потому,

что я написал об этом тогда, когда еще никто, ни у нас, ни в европейской

прессе, и не думал об этих вещах заботиться, несмотря на Восточную войну,

уже гремевшую в мире и заботившую всех. Всем тогда представлялось, что так

одним Востоком и кончится. Впрочем, и теперь, может быть, еще никто не

верит почти в неминуемость европейской войны в ближайшем будущем. Напротив,

недавно еще серьезно обращали внимание на мнение компетентных англичан

(речь Нордскота), что можно еще до зимы замирить. Так что, пожалуй, я

напрасно считаю мою настоящую главу заранее устарелою: хотя факты уже

обозначились, хотя огромное их значение уже выходит наружу, хотя над всей

Европой уже несомненно носится что-то роковое, страшное и, главное,

близкое, но несмотря на эти обозначившиеся факты, я уверен, очень многие

найдут и теперь мои объяснения этих фактов опять-таки ложными и смешными,

фантастическими и преувеличенными, потому что все принимают происходящее

теперь за несравненно меньшее и мельчайшее, чем оно есть в самом дело. Тут,

как раз, например, подойдут во Франции выборы, и Франция вдруг пришлет в

палату прежнее республиканское большинство, что очень может случиться, и

вот, я почти в том уверен, все закричат, что всё кончилось благополучно,

что небо рас чистилось, столкновений никаких, что Мак-Магон повинился,

бессильные клерикалы позорно стушевались и в Европе опять мир и

"законность". Все измышления мои в этой главе покажутся опять лишь

продуктом досужего воображения. Опять скажут, что я фактам, положим, и

совершившимся, придал значение не точное, а, главное, такое, какого нигде

им не придают. Но подождем опять событий и увидим тогда, где была более

точная и верная дорога. А для памяти, попробую, в заключение, еще раз

обозначить точки и вехи этой уже открывающейся перед всеми дороги и на

которую, волей-неволей, а, кажется, предназначено всем вступить. Делаю это

для памяти, чтоб потом можно было проверить. Впрочем, это только простая и

заключительная перечень этой же главы.

1) Дорога начинается и идет из Рима, из Ватикана, где умирающий

старик, глава толпы окружающих его иезуитов, наметил ее уже давно. Когда же

загорелся Восточный вопрос, иезуиты поняли, что наступило самое удобное

время. По намеченной дороге своей они ворвались во Францию, произвели в ней

государственный переворот и поставили ее в такое положение, что близкая

война ее с Германией почти неминуема, даже если б она и не желала начать

ее. Всё это задолго раньше того понимал и провидел князь Бисмарк. По

крайней мере, кажется, только он один, и еще, может быть, за несколько лет

до настоящей минуты, разглядел и постиг своего важнейшего врага и всю ту

огромную для всего мира важность той последней битвы за существование свое,

которую несомненно задаст всему свету умирающее навеки папское католичество

в самом ближайшем будущем.

2) Эта роковая борьба в настоящую минуту уже завершается, а последняя

битва близится с страшною быстротою. Франция была выбрана и предназначена

для страшного боя, и бой будет. Бой неминуем, это верно. Впрочем, есть еще

малый шанс, что будет отложен, но лишь на самое короткое время. Но во

всяком случае, неминуем и близок.

3) Только что бой начнется, как тотчас же и обратится в

всеевропейский. Восточный вопрос и восточный бой, силою судеб, сольется

тоже с всеевропейским боем. Одним из замечательнейших эпизодов этого боя

будет окончательное решение Австрии: которой стороне отдать ей свой меч? Но

самая существенная и важная часть этой последней и роковой борьбы будет

состоять, с одной стороны, в том, что ею разрешится тысячелетний вопрос

римского католичества и что, волею провидения, на его место станет

возрожденное восточное христианство. Таким образом, наш русский Восточный

вопрос раздвинется в мировой и вселенский, с чрезвычайным предназначенным

значением, хотя бы и совершилось это предназначение и перед слепыми

глазами, не признающими его, до последней минуты способными не видеть

явного и не уразуметь смысла предназначенного. Наконец -

4) (И пусть это назовут самым гадательным и фантастическим из всех

предреканий моих, согласен заране.) Я уверен, что бой окончится в пользу

Востока, в пользу Восточного союза, что России бояться нечего, если

Восточная война сольется с всеевропейскою, и что даже и лучше будет, если

так расширится дело. О, бесспорно, страшное будет дело, если прольется

столько драгоценной человеческой крови! Но утешение в том, по крайней мере,

соображении, что эта пролиянная кровь несомненно спасет Европу от вдесятеро

большего излияния крови, если б дело отдалилось и еще раз затянулось. Тем

более, что великая борьба эта несомненно окончится быстро. Но зато

разрешится окончательно столько вопросов (римско-католический вместе с

судьбою Франции, германский, восточный, магометанский), столько уладится

дел, совершенно неразрешимых в прежнем ходе событий, до того изменится лик

Европы, столько начнется нового и прогрессивного в отношениях людей, что,

может быть, нечего страдать духом и слишком пугаться этого последнего

судорожного движения старой Европы накануне несомненного и великого

обновления ее...

Наконец, прибавлю еще соображение: если взять за правило, что обо всех

мировых событиях, даже самой огромной важности на самый поверхностный

взгляд, надо непременно судить по принципу: "нынче как вчера, а завтра как

сегодня", - то не явно ли будет, что правило это решительно ляжет вразрез с

историей наций и человечества. Между тем это именно предписывается так

называемым реальным и трезвым здравомыслием, так что осмеивается и

освистывается чуть не всякий, который осмелился бы помыслить, что завтра

дело явится для всех глаз, может быть, совсем в иной форме, чем в какой

тянулось всё накануне. Даже теперь, например, когда уже пришли факты, не

кажется ли даже очень многим, что клерикальное движение есть самая мелкая

мелочь, что Гамбетта скажет речь, и всё восстановится по-вчерашнему, что

война наша с Турцией, очень и очень может быть, кончится к зиме, и тогда

опять по-прежнему начнется биржевая игра, железнодорожное дело, возвысится

рубль, покатим за границу и прочее и прочее. Немыслимость продолжения

старого порядка дел - была явною в Европе истиною, для передовых умов ее,

накануне первой европейской революции, начавшейся в конце прошлого столетия

с Франции. Между тем кто в целом мире, даже накануне созвания Генеральных

Штатов, мог бы предвидеть и предсказать тогда ту форму, в которую

воплотится это дело почти на другой же день, как началось оно... А уже

когда воплотилось оно, кто мог, например, предсказать Наполеона I, в

сущности бывшего как бы предназначенным завершителем первого исторического

фазиса того же самого дела, которое началось в 1789 году? Мало того, во

время Наполеона I, может быть, всякому в Европе казалось, что появление его

есть решительная и совершенно внешняя случайность, нимало не связанная с

тем самым мировым законом, по которому предназначено было измениться, с

конца прошлого столетия, всему прежнему лику мира сего...

Да, и теперь кто-то стучится, кто-то, новый человек, с новым словом -

хочет отворить дверь и войти... Но кто войдет-вот вопрос: совсем новый

человек или опять похожий на всех нас, старых человечков?

ГЛАВА ВТОРАЯ

I. ЛОЖЬ ЛОЖЬЮ СПАСАЕТСЯ

Однажды Дон-Кихот, столь известный рыцарь печального образа, самый

великодушный из всех рыцарей, бывших в мире, самый простой душою и один из

самых великих сердцем людей, скитаясь с своим верным оруженосцем Санхой в

погоне за приключениями, вдруг был объят некоторым недоумением, которое

заставило его долго думать. Дело в том, что часто великие древние рыцари,

начиная с Амадиса Галльского, истории которых уцелели в правдивейших

книгах, именуемых рыцарскими романами (для приобретения коих Дон-Кихот не

пожалел продать несколько лучших акров своего маленького поместья), - часто

эти рыцари, во время полезных всему миру и славных странствований своих,

встречали вдруг и неожиданно целые армии, во сто даже тысяч воинов,

насылаемых на них злою силою, злыми волшебниками, им завидовавшими и

мешавшими им всячески достигнуть великой цели их и соединиться наконец с их

прекрасными дамами. Обыкновенно происходило так, что рыцарь, встречая такую

чудовищную и злую армию, обнажал свой меч, призывал в духовную помощь себе

имя своей дамы и затем врубался один в самую средину врагов, которых и

уничтожал всех, до единого человека. Кажется бы, дело ясное, но Дон-Кихот

вдруг задумался, и над чем же: ему показалось вдруг невозможным, чтобы один

рыцарь, какой бы он силы ни был и даже если бы махал своим победоносным

мечом целые сутки без всякой усталости, мог зараз уложить сто тысяч врагов,

и это в одном сражении. Чтобы убить каждого человека, нужно все-таки время,

чтобы убить сто тысяч людей, нужно огромное время, и как ни махай мечом, а

в несколько каких-нибудь часов, и зараз, одному этого не сделать. Между тем

в этих правдивых книгах повествуется, что дело кончалось именно в одно

сражение. Как же это могло происходить?

- Я разрешил это недоумение, друг мой Санхо, - сказал наконец

Дон-Кихот. - Так как все эти великаны, все эти злые волшебники, были

нечистая сила, то и армии их носили такой же волшебный и нечистый характер.

Я полагаю, что эти армии состояли не совсем из таких же людей, как мы,

например. Люди эти были лишь наваждение, создание волшебства и, по всей

вероятности, тела их не походили на наши, а были более похожи на тела, как,

например, у слизняков, червей, пауков. Таким образом, крепкий и острый меч

рыцаря, в могучей его руке, упадая на эти тела, проходил по ним мгновенно,

почти без всякого сопротивления, как по воздуху. А если так, то

действительно он мог одним взмахом пройти по трем или по четырем телам, и

даже по десяти, если те стояли в тесной куче. Понятно после того, что дело

чрезвычайно ускорялось, и рыцарь действительно мог истреблять, в несколько

часов, целые армии этих злых арапов и других чудищ...

Здесь подмечена великим поэтом и сердцеведцем одна из глубочайших и

таинственнейших сторон человеческого духа. О, это книга великая, не такая,

какие теперь пишут; такие книги посылаются человечеству по одной в

несколько сот лет. И таких подмеченных глубочайших сторон человеческой

природы найдете в этой книге на каждой странице. Взять уже то, что этот

Санхо, олицетворение здравого смысла, благоразумия, хитрости, золотой

средины, попал в друзья и сопутники к самому сумасшедшему человеку в мире;

именно он, а не кто другой! Всё время он обманывает его, надувает как

ребенка и в то же время вполне верит в его великий ум, до нежности очарован

великостью сердца его, вполне верит во все фантастические сны великого

рыцаря и ни разу, во все время, не сомневается, что тот завоюет ему наконец

остров! Как бы желалось, чтоб с этими великими произведениями всемирной

литературы основательно знакомилось наше юношество. Чему учат теперь в

классах литературы - не знаю, но знакомство с этой величайшей и самой

грустной книгой из всех, созданных гением человека, несомненно возвысило бы

душу юноши великою мыслию, заронило бы в сердце его великие вопросы и

способствовало бы отвлечь его ум от поклонения вечному и глупому идолу

средины, вседовольному самомнению и пошлому благоразумию. Эту самую

грустную из книг не забудет взять с собою человек на последний суд божий.

Он укажет на сообщенную в ней глубочайшую и роковую тайну человека и

человечества. Укажет на то, что величайшая красота человека, величайшая

чистота его, целомудрие, простодушие, незлобивость, мужество и, наконец,

величайший ум - всё это нередко (увы, так часто даже) обращается ни во что,

проходит без пользы для человечества и даже обращается в посмеяние

человечеством единственно потому, что всем этим благороднейшим и богатейшим

дарам, которыми даже часто бывает награжден человек, недоставало одного

только последнего дара - именно: гения, чтоб управить всем богатством этих

даров и всем могуществом их, - управить и направить всё это могущество на

правдивый, а не фантастический и сумасшедший путь деятельности, во благо

человечества! Но гения, увы, отпускается на племена и народы так мало, так

редко, что зрелище той злой иронии судьбы, которая столь часто обрекает

деятельность иных благороднейших людей и пламенных друзей человечества - на

свист и смех и на побиение камнями, единственно за то, что те, в роковую

минуту, не сумели прозреть в истинный смысл вещей и отыскать их новое

слово, это зрелище напрасной гибели столь великих и благороднейших сил

может довести действительно до отчаяния иного друга человечества, возбудить

в нем уже не смех, а горькие слезы и навсегда озлобить сомнением дотоле

чистое и верующее сердце его...

Впрочем, я хотел только указать на ту любопытнейшую черту, которую,

вместе с сотней других таких же глубоких наблюдений, подметил и указал

Сервантес в сердце человеческом. Самый фантастический из людей, до

помешательства уверовавший в самую фантастическую мечту, какую лишь можно

вообразить, вдруг впадает в сомнение и недоумение, почти поколебавшее всю

его веру. И любопытно, что могло поколебать: не нелепость его основного

помешательства, не нелепость существования скитающихся для блага

человечества рыцарей, не нелепость тех волшебных чудес, которые об них

рассказаны в "правдивейших книгах", нет, а самое, напротив, постороннее и

второстепенное, совершенно частное обстоятельство. Фантастический человек

вдруг затосковал о реализме! Не акт появления волшебных армий смущает его:

о, это не подвержено сомнению, и как же бы могли эти великие и прекрасные

рыцари проявить всю свою доблесть, если б не посылались на них все эти

испытания, если б не было завистливых великанов и злых волшебников? Идеал

странствующего рыцаря столь велик, столь прекрасен и полезен и так очаровал

сердце благородного Дон-Кихота, что отказаться верить в него совсем уже

стало для него невозможностью, стало равносильно измене идеалу, долгу,

любви к Дульцинее и к человечеству. (Когда он отказался, когда он излечился

от своего помешательства и поумнел, возвратясь после второго своего похода,

в котором он был побежден умным и здравомыслящим цирюльником Караско,

отрицателем и сатириком, он тотчас же умер, тихо, с грустною улыбкою,

утешая плачущего Санхо, любя весь мир всею великою силой любви, заключенной

в святом сердце его, и понимая, однако, что ему уже нечего более в этом

мире делать.) Нет, но смутило его лишь то, самое верное, однако, и

математическое соображение, что как бы ни махал рыцарь мечом и сколь бы ни

был он силен, всё же нельзя победить армию во сто тысяч в несколько часов,

даже в день, избив всех до последнего человека. Между тем в правдивых

книгах это написано. Стало быть, написана ложь. А если уж раз ложь, то и

всё ложь. Как же спасти истину? И вот он придумывает для спасения истины

другую мечту, но уже вдвое, втрое фантастичнее первой, грубее и нелепее,

придумывает сотни тысяч наважденных людей с телами слизняков, но зато по

которым острый меч рыцаря может вдесятеро удобнее и скорее ходить, чем по

обыкновенным человеческим. Реализм, стало быть, удовлетворен, правда

спасена, и верить в первую, в главную мечту, можно уже без сомнений - и

всё, опять-таки, единственно благодаря второй уже гораздо нелепейшей мечте,

придуманной лишь для спасения реализма первой.

Спросите самих себя: не случалось ли с вами сто раз, может быть,

такого же обстоятельства в жизни? Вот вы возлюбили какую-нибудь свою мечту,

идею, свой вывод, убеждение или внешний какой-нибудь факт, поразивший вас,

женщину, наконец, околдовавшую вас. Вы устремляетесь за предметом любви

вашей всеми силами вашей души. Правда, как ни ослеплены вы, как ни

подкуплены сердцем, но если есть в этом предмете любви вашей ложь,

наваждение, что-нибудь такое, что вы сами преувеличили и исказили в нем

вашей страстностью, вашим первоначальным порывом - единственно, чтоб

сделать из него вашего идола и поклониться ему, - то уж, разумеется, вы

втайне это чувствуете про себя, сомнение тяготит вас, дразнит ум, ходит по

душе вашей и мешает жить вам покойно с излюбленной вашей мечтой. И что ж,

не помните ли вы, не сознаетесь ли сами, хоть про себя: чем вы тогда вдруг

утешились? Не придумали ли вы новой мечты, новой лжи, даже страшно, может

быть, грубой, но которой вы с любовью поспешили поверить, потому только,

что она разрешала первое сомнение ваше?

II. СЛИЗНЯКИ, ПРИНИМАЕМЫЕ ЗА ЛЮДЕЙ. ЧТО НАМ ВЫГОДНЕЕ: КОГДА ЗНАЮТ О

НАС ПРАВДУ ИЛИ КОГДА ГОВОРЯТ О НАС ВЗДОР?

В наше время чуть не вся Европа влюбилась в турок, более или менее.

Прежде, например, ну хоть год назад, хоть и старались в Европе отыскать в

турках какие-то национальные великие силы, но в то же время почти все про

себя понимали, что делают они это единственно из ненависти к России. Не

могли же они в самом деле не понимать, что в Турции нет и не может быть сил

правильного и здорового национального организма, мало того, - что и

организма-то, может быть, уже не осталось никакого, - до того он расшатан,

заражен и сгнил; что турки азиатская орда, а не правильное государство. Но

теперь, с тех пор как Турция в войне с Россиею, мало-помалу укрепилось и

установилось, в иных местах в Европе, даже уже действительное и серьезное

убеждение, что нация эта не только организм, но и имеющий большую силу,

которая, в свою очередь, обладает свойством развития и дальнейшего

прогресса. Эта мечта пленяет многие европейские умы все более и более, а

наконец, даже и к нам перешла: и у нас в России заговорили иные о каких-то

неожиданных национальных силах, которые вдруг проявила Турция. Но в Европе

укрепилась эта мечта опять-таки из ненависти к России, у нас же - из

малодушия и страшной поспешности пессимистских заключений, которые всегда

были свойством интеллигентных классов нашего общества, чуть только лишь

начинались где-нибудь и в чем-нибудь наши "неудачи"! В Европе случилось то

же самое, что произошло в поврежденном уме Дон-Кихота, но лишь в форме

обратной, хотя сущность факта совершенно та же: тот, чтоб спасти истину,

выдумал людей с телами слизняков, эти же, чтоб спасти свою основную мечту,

столь их утешающую, о ничтожности и бессилии России, - сделали из

настоящего уже слизняка организм человеческий, одарив его плотью и кровью,

духовною силою и здоровьем. Об России же самые образованные европейские

государства со страстью распространяют теперь совершенные нелепости. В

Европе и прежде нас мало знали, даже до того, что всегда надо было

удивляться, что столь просвещенные народы так мало интересуются изучить тот

народ, который они же так ненавидят и которого постоянно боятся. Эта

скудость европейских о нас познаний и даже некоторая невозможность Европы

понять нас во многих пунктах - всё это в некотором отношении было для нас

до сих пор отчасти и выгодно. А потому вреда не будет и теперь. Пусть они

кричат у себя о "позорной слабости России как военной державы", вопреки

свидетельству десятков их же корреспондентов с самого поля войны,

удивлявшихся боевой способности, рыцарской стойкости и высочайшей

дисциплине русского солдата и офицера; пусть самые возможные, хотя бы и

значительные, ошибки русского штаба в начале войны, они считают не только

непоправимыми, но и органическими всегдашними недостатками нашего войска и

нации (забыв, как часто мы их бивали в битвах за все последние два

столетия). Пусть, наконец, самые серьезнейшие из их политических изданий

сообщают Европе за точную истину об огромном бунте народа, предводимого

нигилистами, на Выборгской стороне в Петербурге, и о вытребованных русским

начальством двух полках по железной дороге из Динабурга, для спасенья

Петербурга, - пусть это всё говорят они в слепой своей злобе. Повторяю, нам

это даже выгодно, так как сами они не ведают, что творят. Ведь, уж конечно,

им бы хотелось возбудить у себя повсеместно к нам ненависть "как к опасным

противникам их цивилизации", - и вот они же представляют нас в упадшем

виде, в смешном до позора слабосилии как военной державы и как

государственного организма. Но ведь кто так слаб и ничтожен, тот может ли

возбуждать опасения и против себя коалиции? А им именно нужно настроить

против нас свое общество. Стало быть, во вред же себе говорят, а коли так,

то приносят нам не вред, а пользу. Мы же подождем конца.

Но вообразить только, что к ним дошло бы самое полное, точное и

истинное сведение о всей силе духа, чувства непоколебимой веры народа

русского в справедливость великого дела, за которое обнажил меч государь

его, и в несомненное торжество этого дела, рано или поздно? Вообразить, что

в Европе поняли наконец, что война эта для России есть национальная война в

высшей степени и что народ наш вовсе не мертвая и бездушная масса, как они

всегда представляют его себе, а могущественный и сознающий свое могущество

организм, сплоченный весь как один человек и нераздельный сердцем и волею с

своею армиею, - о, какой бы страх и какое повсеместное волнение возбудило

бы у них это сведение! И, уж конечно, это скорее способствовало бы к

действительной и явной уже коалиции против нас Европы, чем столь любезные

им клеветы на наше слабосилие и падение. Нет, уж пусть они лучше верят

бунту на Выборгской. Нас же только ободрит, что они тому верят.

Но в Европе все это понятно, и понятно, от чего это происходит. Но как

у нас-то могут колебаться, волноваться и даже верить в какие-то новые,

вдруг открывшиеся, жизненные силы турецкой нации? Чем проявила она эту

силу? Фанатизмом? Но фанатизм мертвечина, а не сила, у нас сто раз

проповедовали это самые же эти люди, которые верят теперь в турецкие силы.

Говорят про турецкие победы. Но турки отразили, раз и другой, лишь наши

атаки, а это победы, так сказать, отрицательные, а не положительные. Мы,

сидя в Севастополе, отразили раз приступ французов и англичан с страшною

для них потерею людей, но Европа, однако же, не кричала тогда об нашей

победе. Мы целые два последние месяца были гораздо слабее силами, чем

турки, и что ж они не воспользовались этим, что ж не вытеснили нас за

Балканы, не прогнали за Дунай? Напротив, мы везде удержали наши главные

позиции и везде отразили турок. Бывало, что семь или восемь наших

батальонов разбивают ихних двадцать, как недавно случилось под Церковной.

Убежденные в силе турок указывают, однако, на их ружья, которые лучше

наших, и даже на их артиллерию, которая будто бы лучше нашей. Но они не

хотят припомнить, что мы в сущности воюем не с одними турками, а и с

европейскими державами, что множество англичан служат офицерами в турецком

войске, что вооружены турки на европейские деньги, что европейская

дипломатия во многом стала поперек нашей дороги с самого начала войны,

лишив нас помощи естественных союзников наших, лишив нас даже настоящих

дорог наших в Турцию. Кроме того, Европа, ненавистью к нам, несомненно

ободрила и фанатизм турок. В Европе открылся, наконец, заговор целых шаек,

уже организованных, с оружием, с деньгами, чтоб броситься внезапно в тыл

нашей армии. В довершение там состряпали недавно и заем для турок, в

огромный ущерб своему карману, и невозможный заем этот состоялся

единственно потому, что в Европе так полюбили мечту о том, что Турция не

государство слизняков, а действительно с такою же плотью и кровью, как и

европейские государственные организмы. И это когда же, когда кровь целых

провинций Турции лилась рекою, когда открыт даже правильный заговор между

самими правителями Турции с целью истребить болгар всех до единого? Турки

воюют с нами, кормя и поддерживая свое войско такими реквизициями припасов,

лошадей и скота с болгар, которые не могут не разорить дотла эту богатейшую

провинцию Турция. И этим-то разорителям и умертвителям собственной страны

просвещенные англичане дали взаймы денег, поверили их экономической

состоятельности! Но пусть, пусть всё это там, там все-таки это попятно. Но

у нас-то как же признают турок силой? Разорение дотла собственной земли и

истребление в корень всего христианского населения страны - разве это сила?

Да силы такой и до конца войны им не хватит. Первый оборот дела в нашу

пользу - и всё это фантастическое здание их военной и национальной силы

рухнет мгновенно и зараз и рассеется как истинный призрак, вместе даже с их

фанатизмом, который вылетит как из отворенного клапана пар.

Некоторые умные люди проклинают теперь у нас славянский вопрос, и на

словах и печатно: "Дались, дескать, нам эти славяне и все эти фантазии об

объединении славян! И кто нам навалил этих славян на шею, и для чего: на

вечную распрю с Европой, на вечную ее подозрительность к нам, ненависть, и

теперь и в будущем! Да будут же прокляты славянофилы!" и т. д. и т. д. Но

эти восклицающие умные люди, кажется, имеют совершенно ложные сведения и о

славянах и о Восточном вопросе, а многие так совсем даже и не

интересовались им до самой последней минуты. А потому спорить с ними

нельзя. И ведь действительно им неизвестно, что Восточный вопрос (то есть и

славянский вместе) вовсе не славянофилами выдуман, да и никем не выдуман, а

сам родился, и уже очень давно - родился раньше славянофилов, раньше нас,

раньше вас, раньше даже Петра Великого и Русской империи. Родился он при

первом сплочении великорусского племени в единое русское государство, то

есть вместе с царством Московским. Восточный вопрос есть исконная идея

Московского царства, которую Петр Великий признал в высшей степени и,

оставляя Москву, перенес с собой в Петербург. Петр в высшей степени понимал

ее органическую связь с русским государством и с русской душой!. Вот почему

идея не только не умерла в Петербурге, но прямо признана была как бы

русским назначением всеми преемниками Петра. Вот почему ее нельзя оставить

и нельзя ей изменить. Оставить славянскую идею и отбросить без разрешения

задачу о судьбах восточного христианства (NB. сущность Восточного вопроса)

- значит, всё равно что сломать и вдребезги разбить всю Россию, а на место

ее выдумать что-нибудь новое, но только уже совсем не Россию. Это было бы

даже и не революцией, а просто уничтожением, а потому и немыслимо даже,

потому что нельзя же уничтожить такое целое и вновь переродить его совсем в

другой организм. Идею эту не видят и не признают теперь разве уж самые

слепые из русских европейцев, да вместе с ними, и к стыду их, биржевики.

Биржевиками я называю здесь условно всех вообще теперешних русских,

которым, кроме своего кармана, нет никакой в России заботы, а потому

взирающих и на Россию единственно с точки зрения интересов своего кармана.

Они кричат теперь хором о торговом застое, о биржевом кризисе, о падении

рубля. Но если б эти биржевики наши были настолько дальновидны, чтоб

понимать кое-что вне своей сферы, то они бы и сами догадались, что если б

Россия не начала теперешнюю войну, то было бы им же хуже. Чтоб были "дела",

даже биржевые, надо, чтоб нация жила в самом деле, то есть настоящею живою

жизнию и исполняя свое естественное назначение, а не была бы

гальванизированным трупом в руках жидов и биржевиков. Если б мы не начали

теперешней войны после всех цинических и обидных нам вызовов врагов наших и

если б мы не помогли истязуемым мученикам, то сами же себя стали бы

презирать. А самопрезрение, нравственное падение и за ним цинизм - мешают

даже "делам". Нации живут великим чувством и великою, всех единящею и всё

освещающею мыслью, соединением с народом, наконец, когда народ невольно

признает верхних людей с ним заодно, из чего рождается национальная сила -

вот чем живут нации, а не одной лишь биржевой спекуляцией и заботой о цене

рубля. Чем богаче духовно нация, тем она и матерьяльно богаче... А впрочем,

что ж я какие старые слова говорю!

III. ЛЕГКИЙ НАМЕК НА БУДУЩЕГО ИНТЕЛЛИГЕНТНОГО РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА.

НЕСОМНЕННЫЙ УДЕЛ БУДУЩЕЙ РУССКОЙ ЖЕНЩИНЫ

Есть теперь странные недоумения и странные заботы. Положительно есть

русские люди, боящиеся даже русских успехов и русских побед. Не потому

боятся они, что желают зла русским, напротив - они скорбят об всякой

русской неудаче сердечно, они хорошие русские, но они боятся и удач, и

побед русских, - "потому-де, что явится после победоносной войны

самоуверенность, самовосхваление, шовинизм, застой". Но вся ошибка этих

добрых людей в том, что они всегда видели русский прогресс единственно в

самооплевании. Да самонадеянность-то нам, может быть, и всего нужнее

теперь! Самоуважение нам нужно, наконец, а не самооплевание. Не

беспокойтесь: застоя не будет. Война осветит столько нового и заставит

столько изменить старого, что вы бы никогда не добились того самооплеванием

и поддразниваньем, которые обратились в последнее время лишь в простую

забаву. Зато обнаружится и многое такое, что прежде считалось даже

умниками-обличителями нашими лишь мелочью, смешными пустяками и даже

последним делом, но что, однако же, составляет главнейшую нашу сущность

дела во всем. Да и не нам, не нам предаваться шовинизму и самоупоению! Где

и когда это случалось в русском обществе! Утверждающие это просто не знают

русской истории. Об нашем самоупоении много говорили после Севастополя:

самоуверенность-де нас тогда погубила. Но никогда интеллигентное общество

не было у нас менее самоуверенно и даже более в разложении, как в эпоху

пред Севастополем.

Кстати замечу: из писавших о нашем самоупоении и дразнивших нас им

после Севастополя было несколько новых молодых писателей, обративших тогда

на себя большое внимание общества и возбудивших в нем горячее сочувствие к

их обличениям. И, однако, к этим истинно желавшим добра обличителям

присоединилось тогда тотчас же столько нахального и грязного народу,

явилось столько свистопляски, столько людей, совсем не понимавших, в чем

сущность дела, а, между тем, воображавших себя спасителями России, мало

того - явилось в их числе столько даже откровенных врагов России, что они,

под конец, сами повредили тому делу, к которому примкнули и которое

повелось было талантливыми людьми. Но сначала и они имели успех,

единственно потому, что чистые сердцем русские люди, действительно

жаждавшие тогда повсеместно обновления и нового слова, не разобрали в них

негодяев, людей бездарных и без убеждений, и даже продажных. Напротив,

думали, что они-то и за Россию, за ее интересы, за обновление, за народ и

общество. Кончилось тем, что огромное большинство русских людей наконец

разочаровалось и отвернулось от них, - а затем уж пришли биржевики и

железнодорожники... Теперь этой ошибки, кажется, не повторится, потому что

несомненно явятся новые люди, уже с новою мыслью и с новою силою.

Эти новые люди не побоятся самоуважения, но и не побоятся не плыть за

старым. Не побоятся и умников: они будут скромны, но будут уже многое

знать, по опыту и уже на деле, из того, что и не снилось мудрецам нашим. По

опыту и на деле они научатся уважать русского человека и русский народ.

Это-то познание они уж наверно принесут с собой, и в нем-то и будет

состоять их главная точка опоры. Они не станут сваливать всех наших бед и

всех неумений наших единственно лишь на свойства русского человека и

русской натуры, что обратилось уже в казенный прием у наших умников, потому

что это и покойно и ума не требует. Они первые эасвидетельствуют собою, что

русский дух и русский человек, в этих ста тысячах взваленных на них

обвинений, не виноваты нисколько, что там, где только есть возможность

прямого доступа русскому человеку, там русский человек сделает свое дело не

хуже другого. О, эти новые люди поймут наконец, несмотря на всю свою

скромность, как часто наши умники, даже и чистейшие сердцем и желающие

истинной пользы, - садились между двух стульев, желая отыскать корень зла.

К этим-то новым людям, которые несомненно явятся после войны, примкнет

много живых сил из народа и русской молодежи. Они и до войны уже

объявлялись, но мы всё еще их не могли тогда заметить, и когда мы все здесь

ожидали увидеть лишь зрелища цинизма и растления, они там явили зрелище

такого сознательного самоотвержения, такого искреннего чувства, такой

полной веры в то, за что пошли отдавать свои головы, что мы здесь лишь

дивились: откуда взялось все это? Некоторые иностранные корреспонденты

иностранных газет упрекали некоторых русских офицеров за то, что они

самолюбивы, карьеристы, рвутся к отличиям, забывая главную цель: любовь к

родине и к тому делу, которому взялись служить. Но если и есть у нас такие

офицеры, то всё же этим корреспондентам не дурно было бы узнать и о той

молодежи или об тех, незаметных даже по чину своему офицерах, скромных

слугах отечества и правого дела, которые умирали вместе с своими солдатами

доблестно, с полным самоотвержением, вовсе уже не для награды, не для красы

и не для карьеры, а потому только, что были великие сердца, великие

христиане и незаметные великие русские люди, которых так много, чуть не до

последнего солдата, в нашем войске. Заметьте тоже, что, говоря о грядущем

новом человеке, я вовсе не указываю лишь на одних наших воинов, в ожидании

того, когда они воротятся. Явятся и бесчисленные другие - все те, которые

прежде так жаждали верить в русского человека, но не могли проявиться, и

идти против всеобщего, царившего наружу, отрицания и пессимизма. Но теперь,

созерцая, с какой верой в свои силы проявился русский человек там, они

поневоле ободрятся и поверят, что есть настоящие русские силы и здесь:

откуда тамошние-то взялись, как не отсюда же? А ободрившись, сплотятся и

скромно, но твердо примутся уже за настоящее дело, не боясь ничьих громких

и звонких слов. И всё таких старых, старых слов! А умные старички наши все

еще до сих пор уверены, что они-то и есть самые новые и молодые люди и что

говорят самые новые слова!

Но главное и самое спасительное обновление русского общества выпадет,

бесспорно, на долю русской женщины. После нынешней войны, в которую так

высоко, так светло, так свято проявила себя наша русская женщина, нельзя

уже сомневаться в том высоком уделе, который несомненно ожидает ее между

нами. Наконец-то падут вековые предрассудки, и "варварская" Россия покажет,

какое место отведет она у себя "матушке" и "сестрице" русского солдата,

самоотверженнице и мученице за русского человека. Ей ли, этой ли женщине,

столь явно проявившей доблесть свою, продолжать отказывать в полном

равенстве прав с мужчиной по образованию, по занятиям, по должностям, тогда

как на нее-то мы и возлагаем все надежды наши теперь, после подвига ее, в

духовном обновлении и в нравственном возвышении нашего общества! Это уже

будет стыдно и неразумно, тем более, что не совсем от нас это и зависеть

будет теперь, потому что русская женщина сама стала на подобающее ей место,

сама перешагнула те ступени, где доселе ей полагался предел. Она доказала,

какой высоты она может достигнуть и что может совершить. Впрочем, говоря

так, я говорю про русскую женщину, а не про тех чувствительных дам, которые

кормили турок конфетами. В доброте к туркам, конечно, нет худа, по всё же

ведь это не то, что совершили там те женщины; а потому эти всего только

русские старые барыни, а те - новые русские женщины. Но и не про тех одних

женщин говорю я, которые там подвизаются в деле божием и в служении

человечеству; те своим появлением только доказали нам, что в русской земле

много великих сердцем женщин, готовых на общественный труд и на

самоотвержение, - потому-что, опять-таки, откуда же те-то взялись, как не

отсюдова же? Но о русской женщине и о несомненном ближайшем жребии ее в

нашем обществе я хотел бы поговорить побольше и особо, а потому и

возвращусь еще к этой теме в следующем октябрьском "Дневнике" моем.

ОКТЯБРЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I. К ЧИТАТЕЛЮ

По недостатку здоровья, особенно мешающему мне издавать "Дневник" в

точные определенные сроки, я решаюсь, на год или на два, прекратить мое

издание. Делаю это с чрезвычайным сожалением, потому что и не ожидал,

начиная прошлого года "Дневник", что буду встречен читателями с таким

сочувствием. Сочувствие это продолжалось всё время, до последнего дня.

Благодарю за него искренно. Благодарю особенно всех обращавшихся ко мне

письмами: из писем этих я узнал много нового. И вообще издание "Дневника",

в продолжение этих двух лет, многому меня самого научило и во многом еще

тверже укрепило. Но, к сожалению, я решительно принужден остановиться. С

декабрьским выпуском издание окончится. Авось ни я, ни читатели не забудем

друг друга до времени.

II. СТАРОЕ ВСЕГДАШНЕЕ ВОЕННОЕ ПРАВИЛО

Об наших военных ошибках в нынешнюю кампанию говорили и писали и в

Европе, и в России. Продолжают рассуждать и теперь. Верная и полная оценка

наших военных действий, конечно, принадлежит лишь будущему, то есть по

крайней мере может состояться лишь по окончании войны; но некоторые факты

выступают уже и теперь с достаточною полнотою, чтоб произнести о них более

или менее точное суждение. Не о военных ошибках наших возьмусь судить я,

малокомпетентный в этом деле человек (хотя малокомпетентные-то, кажется,

всех более у нас теперь и горячатся). Я лишь хочу указать на один

современный факт (а не на ошибку), который доселе был военной наукой мало

разъяснен, мало наблюдаем, не успел быть оценен в своей современной

сущности, который можно было угадывать лишь в теории, но который,

практически, почти никогда не был подтвержден, вплоть до нынешней войны.

Этому роковому, до нынешней войны практически не подтвержденному в военном

деле факту суждено было, как нарочно, проявиться в самой полной своей силе

и в самой окончательной своей точности, неминуемо в нынешнюю кампанию,

потому что этот чисто военный факт как раз подошел к национальному военному

характеру турок или, лучше сказать: к главному отличительному свойству их

военного характера. Мало того, можно даже так заключить, что факт этот и не

разъяснился бы, пожалуй, без турок, - по крайней мере, в Европе, несмотря

на недавние войны (и такие огромные войны как франко-прусская война), он

еще не был разъяснен, не успел определиться. Теперь, после рокового опыта

текущей войны, он, разумеется, войдет в военное искусство и будет оценен по

своему значению. Но в текущую войну роковое для нас заключалось в том, что

русская армия, так сказать, наткнулась на этот неразъясненный во всем

практическом своем значении военный факт и что предназначено было

разъяснять его нам, русским, с огромным ущербом для нас, по крайней мере до

тех пор, пока смысл его не выяснился для нас вполне. Между тем очень

многие, и у нас, и в Европе, наклонны до сих пор считать этот огромный

ущерб, который мы понесли от этого неразъясненного факта, - единственно

лишь нашей военной ошибкой, тогда как тут было нечто роковое и неминуемое,

а не ошибка, и будь на нашем месте, например, хоть германское войско, то и

оно бы ссадило себе на этом факте бока... хотя, может быть, скорее оценило

бы его и поспешнее приняло меры. Я хочу только сказать, что не все наши

ошибки теперешней кампании - суть в самом деле ошибки и что важнейшая из

этих ошибок постигла бы и любую европейскую армию на нашем месте. Повторяю,

мы наткнулись на неразъясненный военный факт и до разъяснения его понесли

ущерб, - а это нельзя считать безусловной ошибкой. Но что же это за факт?

Когда я, в моей юности, слушал курс высших военных и инженерных наук в

Главном инженерном училище, тогда существовало у нас одно убеждение,

считавшееся непреложным, одна инженерная аксиома. (Впрочем, поспешу

оговориться в скобках: я так давно оставил инженерное и военное дело, что

не претендую ни на .малейшую в этом смысле компетентность. Я поступил в

Главное инженерное училище и слушал в нем шестилетний курс в конце

тридцатых и в начале сороковых годов; затем, кончив курс и оставив училище,

прослужил инженером лишь год, вышел в отставку и занялся литературой.

Тотлебен вышел тремя или четырьмя годами прежде меня. Кауфмана я помню в

офицерских классах. С младшим Кауфманом я был в одно время еще в

кондукторских. Радецкий, Петрушевский и Иолшин были всего лишь одним

классом старше меня. Из моих же одноклассных товарищей удалились с прямого

пути на путь шаткий и неопределенный всего только трое: я, писатель

Григорович и живописец Трутовский. Одним словом, всё это было очень давно.)

Эта инженерная аксиома состояла в том, что нет и не может быть крепости

неприступной, то есть как бы ни была искусно укреплена и оборонена

крепость, но в конце концов она должна быть взята, и что, стало быть,

военное искусство атаки крепости всегда превышает средства и искусство ее

обороны. Разумеется, всё это лишь вообще и теоретически; отвлеченно

рассматривается лишь существенное свойство обоих инженерных искусств, атаки

и обороны крепостей. Разумеется тоже, что нет правила без исключений; и у

нас указывалось тогда на некоторые существующие крепости, которые будто бы

были неприступны. Гибралтар, например, о котором, впрочем, мы знали лишь по

слухам. Но в научном смысле все-таки никакой Гибралтар не мог и не должен

был считаться неприступным, и аксиома, что искусство атаки крепости всегда

превышает средства и искусство ее обороны, оставалась непоколебимою.

О, другое дело на практике. Иная крепость, например, может получить

характер неприступной твердыни (не будучи таковою) потому только, что она,

по тем или другим обстоятельствам, может слишком долго задержать перед

собою главные силы неприятеля, истощить эти силы и таким образом сослужить

службу, больше которой и нельзя требовать. Тотлебен, например, наверно

знал, что Севастополь все-таки возьмут наконец, и не могут не взять, как бы

он ни защищал его. Но союзники уже наверно не знали и не предполагали,

начиная осаду, что Севастополь потребует от них таких напряжений силы.

Напротив, вероятно, полагали, что Севастополь займет их месяца на два и

войдет лишь как мимоходный эпизод в обширный план тех бесчисленных ударов,

которые они готовились нанести России и кроме взятия Севастополя. И вот

именно Севастополь-то и сослужил службу неприступной твердыни, хотя и был

взят под конец. Долгой, неожиданной для них гениальной защитой Тотлебена

силы союзников, военные и финансовые, были истощены и потрясены до того,

что по взятии Севастополя о дальнейших ударах нечего было и думать, и враги

наши желали мира по крайней мере не менее нашего! А такие ли условия мира

предложили бы они нам, если бы удалось им взять Севастополь через два

месяца! Таким образом и не надо абсолютно неприступных крепостей - при

искусной защите и при доблестной стойкости защитников и далеко не

неприступная крепость может сломить силы врагов. Тем не менее, как ни

гениальна была защита Севастополя, но, повторю это, он, все-таки, рано ли,

поздно ли, должен был пасть, потому что, при известном равенстве сил обоих

противников, сила атаки всегда превышает силу обороны (то есть опять-таки в

научном смысле говоря, а не в практическом, ибо от иных твердынь

действительно уходили иногда атакующие, после даже долгой осады их и не по

неприступности их, а рассчитывая лишь сделать другой удар, в другом месте и

с меньшим ущербом сил, если только такой исход мог представиться).

III. ТО ЖЕ ПРАВИЛО, ТОЛЬКО В НОВОМ ВИДЕ

И вот этот военный факт, эта, так сказать, военная аксиома в нынешнюю

нашу войну с турками вдруг как бы поколебались и чем же - не

"долговременным" фортификационным укреплением, не неприступною твердынею

грозной крепости, а летучим, полевым, много что "временным"

фортификационным укреплением. Прежде полевые укрепления и в счет не шли,

это была лишь полевая фортификация. Полевая фортификация лишь укрепляла

местность боя, но неприступною никогда ее не могла сделать. У нас под

Бородином были воздвигнуты редуты и оказали свою пользу, то есть укрепили

местность, но все-таки были взяты и хоть с ущербом для неприятеля, но

все-таки в тот же день были взяты, в день битвы.

И вот под Плевной произошло что-то совсем уже новое. Ряд простых

полевых, много что временных (не очень тоже важная вещь в прежнее время)

укреплений придает местности значение неприступной твердыни, которую

прежними средствами и взять нельзя, которая уже потребовала от нас двойных,

тройных усилий, чем предполагалось вначале, и которая до сих пор еще не

взята. Будь весь этот грозный ряд укреплений с прежними средствами защиты -

устоял ли бы он против энергического, блистательного, беспримерного натиска

русских? Конечно, нет: сослужил бы свое дело, затруднил бы атаку, но 50 000

русских, конечно, при таком беззаветном натиске, как 30-го августа,

овладели бы редутами и разбили бы пятидесятитысячную армию Османа-паши, то

есть дело завершилось бы при равном числе войск и не потребовалось бы

никаких подкреплений. Теперь же, после двух неудавшихся штурмов, оказалось

необходимым увеличить нашу армию вдвое, и это по крайней мере, и это только

первый шаг к достижению цели.

В чем же дело? Уж конечно, в теперешнем ружье. Турок закрывшись

наскоро набросанною насыпью, может выпустить в атакующих такую массу пуль,

что не невероятно, если и вся штурмующая колонна, не дойдя еще и до

гласиса, будет истреблена до последнего человека. О, конечно, можно взять

всю Плевну совершенно прежними средствами, то есть прежней фронтальной

атакой без фортификационных работ, вот точно так же, как были взяты редуты

под Бородином. И наши русские это бы сделали! Может быть, ни одна армия в

Европе не решилась бы сделать это, а они бы сделали. Только вот беда:

оказалось из опыта, что для этого наверно надо положить русских десятками

тысяч, так что, овладев редутами фронтальной атакой, мы, при равном вначале

числе войск с Османом, оказались бы, под самый конец, столь обессиленными

численно, что уже не могли бы сдержать Османа, который бы потерял в десять

раз меньше нашего за своими насыпями. Итак, после двух страшных неудавшихся

приступов выяснилась наконец необходимость: во-первых, увеличить вдвое нашу

силу, затем, с помощию Тотлебена, приступить к инженерным работам, к

чему-то даже похожему на атаку сильнейших, долговременных крепостей, затем

к обложению Плевны, к занятию дорог, к пресечению сообщений, подвозов к

неприятелю. Одним словом, ряд весьма обыкновенных полевых и временных

укреплений сослужил врагу нашему роль первоклассной крепости. И хоть и

возьмут Плевно (что наверно), то есть, вернее сказать, хоть и возьмут

Османа, когда он пойдет напролом, чтобы выйти из собственной западни и не

умереть в ней с голоду, а бросившись напролом откроется и из защищающегося

перейдет сам в роль атакующего (в этом-то и всё для нас дело), чем разом

потеряет все выгоды смертоносного и непреоборимого огня за закрытыми

укреплениями, - тем не менее в результате все-таки выйдет то, что Плевна

уже сослужила свое дело врагу нашему, остановила первоначальное

победоносное шествие русских, принудила на двойные, тройные усилия и

растраты (к чему даже и в Европе уже считали Россию неспособной), и - кто

знает, может быть, и без такого страшного для себя результата в конце:

Осман всё же ведь надеется хоть половину-то своей армии урвать у русских и

убежать вместе с нею, а там опять где-нибудь окопаться и опять воздвигнуть

новую Плевну (если только ему дадут всё это устроить; но ведь всякому

позволительно надеяться, а Осман человек энергичный и гордый).

Даже так можно сказать: если у обороняющегося есть шанцевый инструмент

и хоть десятка два тысяч солдат, с теперешним ружьем, то ряд этих простых

прежних полевых укреплений, которых можно в одну ночь разбросать по

избранной местности сколько угодно, назавтра усилит эти теперешние два

десятка тысяч войска до силы пятидесяти или шестидесятитысячной армии, с

которою, если обстоятельства не благоприятствуют при том маневрированию, вы

уже и не знаете что делать. Таким образом - этот ряд легких укреплений

оказывается иной раз даже лучше для защищающегося, чем самая грозная и

неприступная крепость, потому что эту крепость обороняющийся, отступая, как

бы переносит с собою в другое любое место, был бы шанцевый инструмент. Вы у

него возьмете ее наконец, положив при штурме тысячи солдат, а назавтра вас

встречает такая же крепость на вашем пути, если только успеет уйти от вас

враг. Не одна Плевна теперь в Турции, а всякая турецкая армия, всякий даже

отряд окапывается и выставляет наутро русскому из-за окопов свои

смертоносные ружья: "Подходи-ка, дескать, в двойных силах, да теряй войска

вдесятеро, чем ты рассчитывал в начале войны". Атакующему остается, чтоб

поравняться силами с атакованным, стать напротив него и тоже окопаться. Но

этого нельзя, он атакующий, он пришел, чтоб атаковать и идти вперед. Он не

может сидеть за укреплениями, он пришел штурмовать укрепления... Знающие

люди поймут, что я говорю лишь теоретически, говорю об атаке и обороне

вообще, отбрасывая все другие случайности войны, изменяющие поминутно ход

дела, колеблющие его в ту или другую сторону. Я хочу только выразить

формулу, что при нынешнем ружье, с помощию полевых укреплений, всякий

обороняющийся, в какой бы то ни было стране Европы, получил вдруг страшный

перевес сил перед атакующим. Сила обороны пересиливает теперь силу атаки и

обороняющемуся несомненно выгоднее воевать, чем атакующему. Вот тот факт,

до сих пор в военном деле не разъясненный, в достаточной полноте, и даже

совсем неожиданный, на который нам, русским, суждено было наткнуться и его

разъяснить к огромному нашему ущербу. И это вовсе не наша ошибка, а лишь

новый военный факт, вдруг вышедший наружу и вдруг разъяснившийся...

IV. САМЫЕ ОГРОМНЫЕ ВОЕННЫЕ ОШИБКИ ИНОГДА МОГУТ БЫТЬ СОВСЕМ НЕ ОШИБКАМИ

Ну вот, скажут мне, какой вы тут новый факт открыли? Разве не знали мы

до начала кампании, что такое новое ружье и его смертоносная сила? Да и не

новое оно, а давно уже старое, так что мы не только могли, но и должны были

еще в Петербурге рассчитать и приготовиться к его страшному действию,

особенно за закрытым укреплением. То-то и есть, что на деле не так выходит,

как кажется в теории, и что мы действительно не могли рассчитать и

приготовиться. Легко это кажется лишь тем штатским людям, которые, сидя в

своих кабинетах, критикуют теперь наши военные действия. Я ведь не отрицаю

ошибок, заметьте себе, я ведь признаю, что они есть и быть должны, я только

этот один факт не хочу считать безусловно нашей ошибкой и объявляю, что до

нынешней войны он был фактом неразъясненным и даже неизвестным во всей

своей подавляющей силе. О, без сомнения, можно было рассчитать и заранее

знать, что при нынешнем ружье обороняющийся, закрывшись самым легким

укреплением, может принесть вреда атакующему даже вдвое более, чем прежде;

узнать и рассчитать - это дело легкое и даже никакой военной науки не

требует. Но вот что было уже несравненно труднее рассчитать и предузнать -

именно: что при нынешнем ружье обороняющийся, закрывшись укреплением,

нанесет вреда не вдвое против прежнего, а, по крайней мере, впятеро, а при

такой энергической обороне, которую мы встретили у турок (и на которую нам

слишком извинительно было не рассчитывать), так и вдесятеро. Факт-то был,

положим, известен, но сила его, размеры его были неизвестны. Неизвестно

было, что нынешнее ружье хоть и усилило нападающего, по защищающегося

усилило несравненно больше. Эта чрезмерность-то усиления не была нам

известна, и вот чрезмерность-то эта и составляет новый, неожиданный факт,

на который мы наткнулись.

Не была известна и не могла быть известна, потому что нигде, до

теперешней войны с турками, она не открывалась в такой полноте. Поверьте,

что будь на нашем месте германская армия, то и она бы наткнулась на этот

факт и натерла бы себе бока порядочно. Повторяю, может быть, ранее нашего

оценила бы и усвоила всё значение факта и меры бы приняла. Но тут уж

свойства народного духа: немец осторожнее и осмотрительнее, в иных случаях,

русского, но русский солдат обладает зато такой самоотверженной

дисциплиной, таким полным самопожертвованием, такой силой энергии,

стойкости и напора, что, право, трудно решить: что еще лучше-то в военном

деле, то или другое? Естественно, что наши компетентные люди, зная русского

солдата, могли не очень задумываться вначале, прежде опыта над силой нового

ружья, даже за укреплениями, и хотя бы оно не только вдвое, но и втрое было

страшнее прежнего ружья - могли не столь бояться его. А оказалось, что

новое ружье за укреплениями впятеро и даже вдесятеро сильнее прежнего

ружья, но в этом можно было убедиться единственно лишь из практики... А

практики в этом случае до сих пор еще в европейских войнах не было. Да, с

появлением нового ружья еще много фактов не разъяснилось, и даже самых,

казалось бы, простейших. Мы, например, только и ожили теперь, когда прибыли

к нашему войску берданки, а пустили войско вначале с другим ружьем,

медленным и недальнобойным. Это уже была бесспорная ошибка. Но тот факт, на

который я указываю, не был ошибкой: предвидеть его нельзя было во всей

полноте, рассчитать тоже нельзя было в точности прежде практики.

Франко-прусская война, между двумя народами столь высокими по

образованию, столь равными по силе открытий, изобретений, столь равными по

вооружению (у французов было еще лучше ружье, чем у немцев, и немцы

принуждены были его принять, не откладывая дела, в самый момент войны), -

эта франко-прусская война, привнесшая столь много нового в военное

искусство и почти произведшая в нем переворот, не разъяснила, однако же,

нашего факта нимало. А могла бы разъяснить. Но случились особые

обстоятельства, тому помешавшие, и победитель Франции до сих пор, до самой

нашей турецкой войны, оставался в неведении, что побежденный им француз

имел колоссальное средство в своих руках, чтоб остановить напор немцев в

1871, но не прибегнул к этому средству лишь по особым обстоятельствам,

сделавшим то, что средство это и не могло тогда войти французу в голову.

Немец победил вовсе не французов, а лишь французские тогдашние порядки,

сначала наполеоновского режима, а потом республиканского хаоса. В начале

воины французская армия, национальный характер которой - фронтальная атака

грудью, была страшно изумлена и подавлена нравственно тем, что вместо

перехода через Рейн и вторжения в Германию она принуждена защищать свою

территорию у себя дома. Произошло несколько сражений, в которых победили

немцы. Но мысль о том, что с их великолепным шаспо можно бы сразу

выдвинуть, чтоб остановить страшный натиск врага, несколько страшнейших

Плевн, - не приходила французу вовсе в голову. Он всё рвался грудью вперед

и до самого Седана не хотел верить, что он побежден. Последовал Седан, а

затем регулярные армии, в большинстве своем, по соображениям вовсе не

военным, были устранены от дела. Осталась защита Парижа с сумасшедшим

Трошю. Гамбетта вылетел из Парижа на воздушном шаре, descendit du ciel

(сошел с неба) в одном департаменте (как пишет об нем один историк),

объявил диктатуру и начал набирать новые армии. Эти новые армии мало похожи

были на настоящее войско и составлены из всякого сброду не по вине, однако,

Гамбетты. Сами они писали тогда же, что большинство их солдат не умело даже

зарядить ружья и прицелиться, да и не заботилось о том, не хотело воевать,

а хотело покоя. Пошла зима, стужа, голод. Где им было догадаться, что можно

вдруг стать втрое, вчетверо сильное врага, с ружьем Шаспо и с шанцевым

инструментом? Да и был ли у них шанцевый инструмент? Помешала тоже осада

Парижа, имевшая смысл скорее решающе-политический, чем военный. Одним

словом, французы новым страшным военным фактом не воспользовались, да и

сами не узнали его силы. С теперешней нашей турецкой войной факт выяснился

во всей полноте, и, уж конечно, политические и военные люди Германии с

беспокойством намотали его себе на ус. В самом деле, если факт этот войдет

в науку, в тактику всех армий, то, может быть, и французы им воспользуются,

когда Германия опять на них бросится. И если французы, отбросив свои

военные предрассудки (что очень трудно делается), - вполне усвоят

убеждение, выведенное из турецкой нашей войны: что защита, с новым ружьем и

шанцевым инструментом, несравненно сильнее теперь атаки и требует от

атакующего удвоенных сил, то выйдет следующее соображение: у французов

войска миллион, но есть общее военное правило, что атакованному несравненно

легче совокупить все свои силы, если он воюет у себя дома, даже если б

государство было и при таких невыгодных военных границах, как Россия, но

что атакующий, если б имел (чего никогда не бывает) даже хоть два миллиона

войска, то никак он не может войти в атакованную землю более чем с шестью

или семью стами тысячами войска. Вообразите же теперь, что этот весь

миллион защищающихся прибегнет притом к шанцевому инструменту с такою же

энергией и широкостью приема, как теперь турки, вообразите притом

талантливого полководца и превосходных инженеров, - тогда ведь Германии

пришлось бы послать во Францию даже и не миллион, а minimum полтора! Об

этом наверно кто-нибудь теперь в Германии думает.

V. МЫ ЛИШЬ НАТКНУЛИСЬ НА НОВЫЙ ФАКТ, А ОШИБКИ НЕ БЫЛО. ДВЕ АРМИИ - ДВЕ

ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ. НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ

И именно туркам суждено было открыть новый факт во всей полноте!

Другие народы, другие армии долго бы не открыли его практически в такой

полноте. Турки слишком давно уже не нападают на Европу сами и привыкли

именно к защите. Это и есть главная национальная черта турецкой армии. За

укреплениями турок вынослив, энергичен, в нынешнюю же войну Европа как

нарочно ободрила его, помогла ему оружием, инженерами, в огромном размере

деньгами и, наконец, подстреканиями и натравливанием на нас возбудила в нем

фанатизм. Было кому надоумить его, если б даже он и не знал факта, но факт

как раз сошелся с его национальным духом. Сразу понял он, что такое

шанцевый инструмент при скорострельном ружье и какой чрезмерный перевес

силы приобретает теперь защита, с помощию его, над атакой. И как нарочно

суждено было нарваться на это русским, - то есть той именно армии, которая,

по старинной вековой привычке, усвоила себе атаку рьяным напором, грудью,

всем вместе, товариществом, обращаясь из тысяч вдруг как бы в одно

существо... Вот из двух-то этих обратных друг другу противоположностей и

выяснилась новая аксиома во всей полноте. Повторю еще раз: еще можно было

предвидеть и рассчитать, что сила нового ружья за закрытым шанцем превышает

вдвое и даже втрое усилие атакующего. Надеясь на стойкость и неслыханную

энергию русского солдата, мы могли смотреть на это вдвое и втрое - с

презрением (и долго смотрели так), но оказалось не вдвое и втрое, а

вдесятеро. Этого нельзя было предвидеть и даже, несмотря уже на практику,

усвоить скоро.

Штатским военным, разумеется, всё это будет смешно. Да и факта,

опять-таки, никакого они не признают вовсе: "Должны-де были предугадать и

кончено. Всем известно, что ружье Пибоди дает десять, двенадцать выстрелов

в минуту, ну и должны были понять, что с таким ружьем, сидя за укреплением,

турок побьет атакующую колонну до последнего человека". Но в теории, прежде

опыта, повторяю опять, нельзя было узнать это во всей полноте. Есть

удивительно простые вещи, которых самые гениальные полководцы не могли

заранее предугадать. Один французский военный историк горько упрекает

Наполеона I за то, что тот, имея у себя, в пятнадцатом году, 170-титысячную

армию (всего на всё) и зная отлично, что уже ни солдата более не достанет

от Франции - до того она была истощена двадцатилетними войнами, решился,

однако же, сам напасть на врагов, то есть на внешнюю войну, а не на

внутреннюю. Этот историк силится доказать, что если б он и победил при

Ватерлоо, то это бы нисколько не спасло его от окончательного разгрома в ту

же кампанию, ввиду подавляющего численного превосходства сил коалиции. Вся

ошибка Наполеона состояла, говорит этот историк, в том, что он, по-прежнему

еще, считал французского солдата стоящим двух немецких; и если б это было

действительно правдой, то, конечно, он бы тем восполнил недостаток сил, с

которыми выходил на бой со всею Европой. Но в пятнадцатом году это было уже

не так, критикует историк: немцы в двадцать лет научились сражаться и

выровняли своих солдат до того, что немецкий солдат совершенно равнялся

французскому. Итак, и гениальный Наполеон сделал такую простую бы, кажется,

ошибку, не догадался о том, что уже должен был давно знать и что так ясно

бросалось в глаза его критику. Но критиковать легко, и легко быть великим

полководцем, сидя на диване. Замечательно то, что и Наполеон и мы ошиблись

на весьма сходном пункте, то есть ошибочно придали чрезмерное значение

некоторым национальным особенностям наших войск.

В заключение повторю еще и еще раз, что всё сказанное имеет смысл лишь

вообще, имеет смысл лишь научный (верный или неверный - об этом пусть

всякий судит как хочет). Но на практике результаты могут чрезвычайно

изменяться. Так, например, турки дали же нам в начале войны перейти за

Дунай и явиться за Балканами, сдавали же они свои крепости и города и

бежали же перед нами, вовсе не думая о шанцевом инструменте и о значении

своего ружья Пибоди. И фанатизму в них тогда еще, кажется, не было. В чем

дело, они сами-то по-настоящему узнали вполне лишь под Плевной. Тут-то они

в первый раз догадались о всех современных выгодах атакуемого в тактическом

отношении. Но может случиться, что Плевна будет взята через неделю, а с нею

и весь Осман, то есть ни одного солдата, может быть, не удастся ему с собой

увести, если он пойдет на пробой. Затем, вдруг, например, может явиться у

турок прежний упадок духа, забудут и об Адрианополе и об Софии, шанцевый

инструмент побросают, убегая перед русским натиском без оглядки, одним

словом - многое может случиться; но всё это вовсе не изменит значения новой

аксиомы, в ее общем смысле, то есть что при теперешних средствах сила

обороны превышает силу атаки не по-прежнему, а чрезмерно. Возьмем еще

пример: где-нибудь ведется война и генерал затворился с своим отрядом в

сильной крепости. Рассчитав все данные, то есть средства провианта,

помещения и силу крепостных верков, инженерная наука может (мне кажется)

определить почти до точности: сколько времени крепость могла бы

сопротивляться и тем принести несомненную пользу своему государству,

задержав в самое горячее время под стенами своими вдвое, например,

сильнейшего атакующего неприятеля? Положим, этот срок шесть или семь

месяцев, и вот вдруг генерал, затворившийся в этой крепости, сдает ее на

капитуляцию, по своим особенным соображениям, не через 7 месяцев, а через

два! Но ведь это нимало, нисколько не нарушает первоначального научного

расчета о возможности защищаться семь месяцев. Одним словом, практика может

изменять дело с бесконечными вариантами. Тем не менее аксиома о

чрезмерности перевеса (даже и не снившейся никому и нигде прежде до

теперешней нашей войны с турками) силы обороны перед силой атаки при

теперешних средствах вооружения - остается во всей силе. (Подчеркну еще

раз: не перевес силы нельзя было нам предвидеть, а такую чрезмерность его.)

Но теперь практика уже на нашей стороне, и мы больше такой ошибки не

сделаем. Теперь там Тотлебен; что он делает, нам в точности неизвестно, но

гениальный инженер найдет, может быть, средство (не только в частном

случае, но и вообще) потрясти аксиому, уничтожить чрезмерность и

уравновесить две силы (атаки и обороны) каким-нибудь новым гениальным

открытием. На его действия внимательно и жадно смотрит Европа и ждет не

одних политических выводов, но и научных. Одним словом, наш военный

горизонт просиял, и надежд опять много. В Азии кончилось большой победой.

Балканская же армия наша многочисленна и великолепна, дух ее вполне на

высоте своей цели. Русский народ (то есть народ) весь, как один человек,

хочет, чтоб великая цель войны за христианство была достигнута. Нельзя

матерям не плакать над своими детьми, идущими на войну: это природа; но

убеждение в святости дела остается во всей своей силе. Отцы и матери знают,

на что отпускают детей: война народная. Это отрицают иные, не верят,

набирают факты противуречащие, а вот такие, например, известия, мелким

шрифтом, в газетах так и остаются почти непримеченными:

"Со станции Бирзулы пишут в "Одесский вестник", что 3-го октября через

эту станцию провезено в действующую армию 2800 выздоровевших солдат. С ними

было 6 выздоровевших раненых офицеров. Замечательно, что из числа раненых

ни один не пожелал воспользоваться своим правом и остаться в запасных

войсках. Все спешили и спешат на место войны ("Моск. ведомости", Љ 251)".

Как вам нравится такое сведение? Ведь уж, кажется, такие факты

свидетельствуют о характере дела! Как же утверждать после них, что нынешняя

война не имеет народного характера и что народ в стороне? Но таких фактов

не один, а множество. Все они соберутся и просияют и войдут в Историю... К

счастью, большинство этих фактов засвидетельствовано многочисленнейшими

европейскими очевидцами и теперь уже их нельзя изменить, подтасовать и

представить в биржевом или в римско-клерикалъном виде...

ГЛАВА ВТОРАЯ

I. CАМОУБИЙСТВО ГАРТУНГА И ВСЕГДАШНИЙ ВОПРОС НАШ: КТО ВИНОВАТ?

Все русские газеты толковали недавно (и до сих пор толкуют) о

самоубийстве генерала Гартунга, в Москве, во время заседания окружного

суда, четверть часа спустя после прослушания им обвинительного над ним

приговора присяжных. А потому я думаю, что все читатели "Дневника" уже

знают более или менее об этом чрезвычайном и трагическом происшествии и

подробно объяснять его мне уже нечего. Общий смысл в том, что человек, в

значительном чине и круга высшего, сходится с бывшим портным, а потом

процентщиком и дисконтером Занфтлебеном, и не потому только, что принужден

был занимать у него деньги, а даже как бы и дружественно, принимает,

например, на себя обязанность его душеприказчика, и, по-видимому, очень

охотно. Затем, по смерти Занфтлебена, происходит несколько вопиющих вещей:

пропадает вексельная книга неизвестно куда; векселя, бумаги и документы, с

совершенным нарушением порядка, предписанного законом, отвозятся Гартунгом

к себе на квартиру. Гартунг, как оказывается, вступает в соглашение с одной

частью наследников в ущерб другой (хотя, может быть, и не подозревает того

сам). Затем к нему врывается один из наследников, и бедному душеприказчику

уже на деле приходится узнать, что он попал в такое общество, в какое и не

ожидал. Затем начинаются обвинения уже прямо - в краже векселей, вексельной

книги, в переписке векселей, в исчезновении документов с лишком на сто или

даже на двести тысяч рублей имущества... Затем начинается суд. Прокурор

даже рад суду и тому, что генерал сидит рядом с простолюдином и тем дает

повод русской Фемиде произнести торжество равенства перед законом сильных и

высших с малыми и ничтожными.

Суд, однако же, идет весьма нормальным порядком (что бы ни говорили об

этом), и в конце концов присяжные выносят почти неминуемое обвинение, в том

числе и о Гартунге, смысл которого: "виновен и похитил". Суд удаляется

составить приговор, но генерал Гартунг дождаться его не захотел: выйдя в

другую комнату, он, говорят, сел к столу и схватил обеими руками бедную

свою голову; затем вдруг раздался выстрел: он умертвил себя принесенным с

собой и заряженным заране револьвером, ударом в сердце. На нем нашли тоже

заране заготовленную записку, в которой он "клянется всемогущим богом, что

ничего в этом деле не похитил и врагов своих прощает". Таким образом, он

умер в сознании своей невинности и в сознании своего джентльменства.

И вот эта-то смерть и взволновала всех в Москве и все газеты во всей

России. Говорят, и судьи и прокурор вышли из своих комнат совсем бледные.

Присяжные, говорят, будто бы тоже были сконфужены. Газеты завопили даже об

"очевидно несправедливом решении", и одни из них замечали, что наши суды

нельзя уже теперь обвинять за мягкие и потворствующие приговоры: "Вот,

дескать, пример: пал невинный". Другие справедливо заметили, что таким

торжественным и последним словам человека на земле почти невозможно не

верить, а, стало быть, почти несомненно можно заключить, что произошла

плачевная судебная ошибка. И многое, многое говорили и писали газеты. Надо

признаться, некоторые из отзывов газет были странны: слышалась какая-то

фальшь, может быть, горячая и искренняя, но фальшь. Гартунга жалко, но тут

скорее трагедия (преглубокая), фатум русской жизни, чем с которой-нибудь

стороны ошибка. Или, лучше сказать, тут все виноваты: и нравы, и обычаи

нашего интеллигентного общества, и характеры, в этом обществе выровнявшиеся

и создавшиеся, наконец, нравы и обычаи наших заимствованных и недостаточно

обрусевших молодых судов. Но ведь когда все огулом виноваты, значит,

порознь нет никого виновного. Из всех газетных отзывов мне всего более

понравился отзыв "Нового времени". Я накануне как раз говорил с одним из

наших тонких юристов и знатоков русской жизни, и оказалось, что насчет

этого дела у нас один и тот же вывод, причем мой собеседник весьма метко

указал на "трагизм" этого дела и на причины трагизма. На другой день, в

фельетоне Незнакомца, я прочел очень многое весьма похожее на то, об чем мы

только что говорили накануне. А потому, если и скажу теперь несколько слов,

то лишь в частности и "по поводу".

II. РУССКИЙ ДЖЕНТЛЬМЕН. ДЖЕНТЛЬМЕНУ НЕЛЬЗЯ НЕ ОСТАТЬСЯ ДО КОНЦА

ДЖЕНТЛЬМЕНОМ

Дело в том, что старые характеры еще не перевелись, и, кажется, еще

долго не переведутся, потому что на все надобен срок и везде природа. Я

говорю о характерах нашего интеллигентного общества. Здесь, впрочем,

настойчиво и с упором замечу: что и не хорошо было бы, если б мы вдруг как

флюгера изменялись, потому что самая противная вещь в наших интеллигентных

характерах именно это свойство легковесности и бессодержательности. Она

напоминает что-то лакейское, лакея, рядящегося в барское платье. Одно из

свойств, например, нашего джентльменничанья, если мы почему-нибудь раз

прикоснулись к богатым и знатным, и особенно если к ним проникли, - это

представительность, потребность обставить себя широко. Заметьте, я лично о

Гартунге не говорю теперь ни слова, я совершенно не знаю его биографии; я

только хочу отметить несколько штрихов всем известного характера нашего

интеллигентного человека, говоря вообще, и с которым, при известных

обстоятельствах, могло бы случиться точь-в-точь то же самое, что и с

генералом Гартунгом. Человек, например, ничтожный, в малом чине, без гроша

в кармане, вдруг попадает в высшее общество или хоть почему-либо

соприкоснется с ним. И вот у бедняка, ничего не имевшего, кроме способности

профильтроваться в высшее общество, вдруг является своя карета, квартира, в

которой "возможно" жить, лакеи, костюмы, перчатки. Может быть, он хочет

сделать карьеру, выбиться в люди, но чаще всего бывает так, что просто

подражать хочет: все, дескать, так живут, как же я-то? Тут какой-то в нем

стыд, которого никак нельзя пересилить, одним словом: честь и порядочность

понимаются как-то странно, собственного же достоинства не оказывается

никакого. В параллель этому непониманию такой первейшей вещи, как чувство

собственного достоинства, можно поставить, мне кажется, лишь непонимание,

чуть не всем интеллигентным европейским веком нашим, свободы, в чем состоит

она, - но об этом потом. Вторая и опять-таки почти трагическая черта нашего

русского интеллигентного человека - это его податливость, его готовность на

соглашение. О, есть множество кулаков, биржевиков, противных, но стойких

мерзавцев: есть даже и хорошие стойкие люди, но их мало ужасно, в

большинстве же порядочных русских людей царит именно эта скорая

уступчивость, потребность уступить, согласиться. И вовсе это даже не от

добродушия, равно как далеко не от трусости, а так, деликатность какая-то

или неизвестно уж что тут. Сколько раз вам, например, приходилось в

разговоре с упорным, например, человеком, налегавшим на вас и требовавшим

вашего отзыва, согласиться и уступить ваше мнение или ваш даже голос в

каком-нибудь заседании, хотя вы, может быть, внутри себя и вовсе бы того не

желали. Увлекает тоже очень русского человека слово все: "я как и все", -

"я с общим мнением согласен", - "все идем, ура!" Но есть тут и еще

странность: русский человек сам себя обольстить, прельстить, увлечь и

уговорить очень любит. И не хочется ему сделать то и то, пойти, например, в

душеприказчики к Занфтлебену, но уговорит себя: "Что ж, дескать, такое,

пойду..."

Бывают в этом слое интеллигентных русских людей типы, с некоторой

стороны даже чрезвычайно привлекательные, но именно с этими несчастными

свойствами русского джентльменства, на которые я сейчас намекал. Иные из

них почти невинны, почти Шиллеры; их незнание "дел" придает им почти нечто

трогательное, но чувство чести в них сильное: он застрелится, как Гартунг,

если, по своему .мнению, потеряет честь. Может быть, их даже довольно и

числом. Но вряд ли эти люди знают, например, когда-нибудь сумму своих

долгов. И не то чтоб все они были кутилы, иные, напротив, прекрасные мужья

и отцы, но деньги можно мотать и кутиле и прекрасному отцу. Весьма многие

из них входят в жизнь с слабыми остатками прежних родовых имений, которые

быстро улетучиваются в первые же дни юности. Затем брак, затем чин и

хорошее казенное местечко, которое так себе, а все же дает какой-нибудь

доход и основание в жизни, нечто уже солидное, в противоположность

великосветскому бродяжеству в прежнюю жизнь. Но долги идут беспрерывно, он,

конечно, платит их, потому что он джентльмен, но платит новыми долгами.

Положительно можно сказать, что многие из них, обдумывая в иную минуту свое

положение про себя, наедине, могли бы смело и с великим благородством

произнести: "Мы ничего не похищали и ничего не хотим похитить". Между тем

вот какая тут мелкая черточка может даже произойти: при случае (ну очень

понадобилось) он способен взять взаймы даже у няньки детей своих

какие-нибудь накопленные ею 10 рублей. Да что же такое, помилуйте, почему

же нет? Притом старушка-нянька, весьма часто, есть обжившийся близкий и

интимный в доме человек. Она почти член семьи, ее ласкают, ей даже самые

важные ключи на хранение передают. Добрый генерал, ее барин, давно уже

обещал ей место в богадельне на старость, да вот только дела-то эти всё

мешают ему позаботиться, а давно бы надо там об ней словечко замолвить. А

нянька так и напомнить страшится, напоминает разве один разик в год о

богадельне, всё трепещет досадить такому нервному и обеспокоенному всегда

человеку, как ее генерал. "Добрые ведь они, сами вспомнят", - думает она

подчас, укладывая в постель свои старые кости; об 10-ти же рублях и

напомнить так даже стыдится, у ней своя совесть есть, у старушки. И вот

вдруг умирает генерал, и - ни места у старушки, ни десяти рублей. Всё это,

разумеется, пустяки и мелочь страшная, но если бы вдруг на том свете

напомнили генералу, что нянька-то ведь 10-ти рублей не получила, то он бы

страшно покраснел: "Какие десять рублей? Неужто! Ах да, ведь в самом деле,

года четыре назад! Маis comment, comment, 2 и как это могло случиться!" И

этот долг мучил бы его сильнее, чем иной даже десятитысячный оставленный им

на земле! Ему было бы ужасно как стыдно: "О, поверьте, я не хотел того,

поверьте, что я даже не думал о том, забыл думать!" Но бедного генерала

слушали бы там только ангелы (так как он наверно попал бы в рай), а нянька

все-таки осталась бы без десяти рублей на земле, и жалко ей их иногда,

старушке: "Ну да бог с ними, грех поминать этим, а человек были самый

драгоценный, самый как ни на есть праведный барин".

И вот что еще: если бы этот прелестный человек как-нибудь опять

очутился на земле и воплотился в прежнего генерала - отдал бы он 10 рублей

няньке или нет?

Но не всё ведь они занимают. Вот приятель, благо-р-роднейший Иван

Петрович, просит его выдать ему векселей тысяч на шесть: заложу, дескать, в

банк, где я состою, и дисконтирую а вот тебе, дражайший друг, встречные на

шесть тысяч. Чего же думать? Векселя выдаются, Ивана Петровича он часто

встречает потом в клубе, оба забыли, разумеется, и думать о выданных

векселях, потому что оба суть самый цвет, так сказать, порядочных людей в

нашем обществе, и вдруг, через шесть месяцев, все шесть тысяч падают на

плечи генералу: "Извольте, дескать, платить, ваше превосходительство". Ну

вот тут и бросаются к людям как Занфтлебен и пишут документы, в сто на сто.

Поверьте опять-таки, что я, в изображении моем, ни одной чертой не

претендую обличать покойного генерала Гартунга: я его совсем не знал и

ничего не слыхал о нем лично. Я только имел претензию чуть-чуть начертить

характер одного из членов этого общества, но который, однако, если б

попался в такую же передрягу, как генерал Гартунг к Занфтлебену, то с ним

могло бы произойти совершенно то же самое, как и с Гартунгом, до

самоубийства включительно. А потому, мне кажется, в деле Гартунга нечего ни

стыдить суд, ни стыдиться суду. Тут ведь фатум, трагедия: генерал Гартунг

до самой последней минуты своей считал себя не виновным и оставил

записку...

-Да, но ведь вот, однако ж, эта записка, -скажут другие. - Ведь

невозможно же, чтобы в такую минуту человек, да еще верующий, как

оказывается, мог солгать. Значит, он ничего не похитил, коли так

торжественно заявил, что не похитил. Да и сделки тут никакой не могло быть

у него даже с совестью: как бы ни был шаток и затемнен смысл человека всей

этой путаницей, но уж коли он говорит "я не похитил", то он не может не

знать: "похитил он или не похитил?" Это ведь просто дело рук человеческих.

Тут просто вопрос: клал в карман или не клал? Как же он мог не знать, если

б положил?

Это совершенно справедливо, но вот ведь что может тут быть, и даже

наверно: ведь он написал только про одного себя: "Я, дескать, ничего не

похитил, и не думал о похищении", - но ведь могли похитить другие.

- Совершенно невозможно, - возразят мне. - Если он дал похитить другим

и, зная о том как опекун, смолчал, то, стало быть, и он похитил с другими!

Генерал Гартунг не мог не понимать, что тут нет разницы.

Отвечу: во-первых, можно еще оспорить аргумент, что "если знал и дал

похитить, то, стало быть, и он похитил", а во-вторых, тут несомненно есть

разница. А в-третьих, генерал Гартунг мог именно написать в этом лишь

буквальном смысле, о котором мы говорим: "То есть я, дескать, лично не брал

и не хотел брать ровно ничего, сделали другие и против моей воли. Я виновен

лишь в слабости, но не в мошенничестве, потому что сам ничего не хотел

брать ни у кого и даже сопротивлялся. Сделали другие..." Он именно мог

написать в этом смысле свои роковые слова но в то же время, будучи столь

честен и благороден, ни за что не мог бы согласиться, что "коли попустил

украсть, значит, сам украл". Он к богу шел, и он знал, что не хотел ни

украсть, ни попустить, а так само укралось. Да к тому же заметьте, он никак

бы и не мог разъяснить в этой записке свои слова пошире: то есть что

виновен в послаблении, а не в похищении и проч. Не мог же он, джентльмен,

доносить на других, - особенно в такую торжественную минуту, в которую он

"простил врагам своим".

А наконец, и это всего вероятнее, он, может быть, не мог в своем

сердце сознаться даже и в послаблении, в слабости, в добродушном попущении.

Тут, может быть, была такая сеть обстоятельств, которую он до самой

последней минуты, включительно, осмыслить не мог, с тем и ушел на тот свет.

"Похищена-де вексельная книга" - и вот толковые люди, которым он вполне

доверяется, убеждают его в самом начале, что ведь это просто пустяки,

пропала сама как-нибудь, потому что ведь никому она и не нужна. Они выводят

ему цифрами, математически, что вексельная книга была бы во вред, а не к

пользе самим даже наследникам. (Ведь этот самый аргумент представляла же на

суде потом защита, и, кажется, он был справедлив.) В этом смысле могло быть

и всё остальное выставлено и растолковано Гартунгу. Ведь он дел не знал, и

его можно было убедить во всем. "Поверьте, дескать, мы тоже благородные

люди, мы, как и вы, не хотим похитить ничего у наследников, но дела-то у

Занфтлебена остались в таком щекотливом виде, что если там они (наследники)

узнают теперь про вексельную книгу и всё это, то могут прямо нас обвинить в

мошенничестве, а потому надо скрыть от них". Эти "беспорядки Занфтлебена",

разумеется, открывались не вдруг, а постепенно, так что Гартунг узнавал

истину или, лучше сказать, терял истину и втягивался в ложь каждый день

постепенно. И вот вдруг к нему прямо врывается один из наследников, и если

не кричит, что генерал Гартунг вор, то ведь всё равно что кричит: он ведь

вошел с торжеством, с победоносной и злой улыбкой и уж вполне уверенный,

что теперь смеет сделать в квартире генерала всякую пакость. И тут только

генерал вполне узнал, в какую трущобу забился. Потом он совсем потерялся,

он стал предлагать компромиссы, сделки и запутал, конечно, себя еще более,

а обвиняющая сторона жадно вцепилась в новые компрометирующие его факты

насчет компромиссов и сделок. Всё пошло в дело. Одним словом, Гартунг умер

в сознании совершенной своей личной невинности, но и ошибки... судебной

ошибки, в строгом смысле, никакой не было. Был фатум, случилась трагедия:

слепая сила почему-то выбрала одного Гартунга, чтоб наказать его за пороки,

столь распространенные в его обществе. Таких, как он, может быть, 10.000,

но погиб один Гартунг. Невинный и высоко честный этот человек, с своей

трагической развязкой, конечно, мог возбудить наибольшую симпатию, из всех

этих десяти тысяч, а суд над ним приобрести наибольшую огласку по России

для предупреждения "порочных"; но вряд ли судьба, слепая богиня, на это

именно рассчитывала, поражая его.

III. ЛОЖЬ НЕОБХОДИМА ДЛЯ ИСТИНЫ. ЛОЖЬ НА ЛОЖЬ ДАЕТ ПРАВДУ. ПРАВДА ЛИ

ЭТО?

И, однако, во мне все-таки воскресло одно, еще прежнее впечатление,

которым хочется поделиться, хотя, может быть, очень наивное. Это уже вообще

об нашем суде. Гласный суд с присяжными заседателями принято считать во

всем мире чуть не за достигнутое совершенство: "Это, так сказать, победа,

высший плод ума". Я верю со всеми, потому что вам скажут, например: "Ну

выдумайте лучше" - и ведь вы не выдумаете. Следственно, необходимо

согласиться уже по тому одному, что нельзя лучше выдумать. А между тем вот

всходит на сцену... то бишь на эстраду, г-н прокурор. Представим, что это

человек превосходный, умный, совестливый, образованный, с христианскими

убеждениями и знающий Россию и русского человека, как мало в России знают.

Ну-с, а вот этот совестливейший человек прямо начинает с того, что он "даже

рад, что случилось это преступление, потому только, что пришла наконец кара

этому злодею, вот этому подсудимому, потому что если б вы только знали,

господа присяжные, какая это каналья!" То есть он, разумеется, "каналью" не

употребит, но ведь это все равно: он самым вежливейшим, самым мягким и

самым гуманным образом выставит его под конец даже хуже канальи, хуже даже

всякой канальи. Скорбя сердцем, он деликатнейшим образом передает, что ведь

и мать его была такова, что он, наконец, не мог не украсть, потому что

самый низкий разврат увлекал его всё более и более в бездну. Сделал же он

всё сознательно и преднамереннейшим образом. Вспомните, как хорошо ему

послужил пожар в соседней улице в минуту совершения им преступления, потому

что пожар, произведя тревогу, отвлек к себе внимание и дворников и всего

околотка. "О, я, разумеется, далек от всякого прямого обвинения в поджоге,

но, господа присяжные, согласитесь, что тут странное совпадение двух

обстоятельств, неизбежно наводящих на известную мысль, но я молчу, молчу, -

но, конечно, вы этого вора, убийцу (потому что он непременно бы убил, если

б встретил кого в квартире) и, наконец, поджигателя, отъявленного,

доказанного поджигателя, - конечно, уж вы его ушлете куда-нибудь подальше и

тем дадите возможность вздохнуть добрым людям, хозяйкам спокойно удаляться

из квартиры за покупкой провизии, а владельцам домов не трепетать за свое

имущество, хотя бы таковое и было застраховано в том или другом страховом

обществе. А главное, напрасно я это всё вывожу: взгляните на него! вот он

сидит, не смея взглянуть в глаза честным людям, и разве мало одного

простого взгляда, чтоб убедиться, что это и вор, и убийца, и поджигатель.

Об одном лишь торжественно сожалею, что ему не удалось сделать десять таких

же покраж белья, зарезать десять таких же хозяек и поджечь десять таких же

домов, потому что тогда самая уже колоссальность преступления потрясла бы

граждански-сонливое общество наше и заставила бы его прибегнуть наконец к

самозащите и выйти из преступного своего гражданского усыпления..."

О, мы знаем, что г-н прокурор будет говорить гораздо благороднее.

Слова наши карикатура и годятся лишь для юмористической воскресной газетки

с куплетами и карикатурами, положим. Положим, это будет даже одно из таких

дел, которые возбуждают глубокие социальные и гражданские вопросы, а

главное, в нем будут психологические места, а в психологии, как известно,

чрезвычайно бойки прокуроры даже во всей Европе. Ну, и что же, все-таки

выйдет в заключение то же самое, то есть что жаль, дескать, что не было

вместо одного - десяти, тридцати, пятисот отравлений, потому что тогда бы

содрогнулись ваши сердца и вы бы встали как один человек, и т. д. и т. д.

Но, возразят мне, что ж тут такого? Положим, ужасно много прокуроров

совсем не ораторы, но прокурор, во-первых, чиновник и должен действовать

сообразно службе своей, и во-вторых, что прокуроры всегда преувеличивают

обвинение - в том нет не только ничего предосудительного, но, напротив, всё

полезное. Ибо так именно и надо. Зато, в противуположность ему, есть

защитник подсудимого, которому позволяется вполне опровергать прокурора.

Кроме того, даже во всей Европе позволяется доказывать, конечно, с

полнейшей вежливостью, что прокурор глуп, нелеп, подловат и что "если кто

зажег третьего дня в 3-й линии на Васильевском дом, так это именно этот

самый человек, потому что он как раз в это самое время был на Васильевском

острове на именинах генерала Михайлова, провосходнейшего и

благо-о-р-роднейшего существа, а что он зажег дом, то в этом нет сомнения

по тому одному даже (опять психология), что не подожги он этот дом, по

вражде с домовладельцем купцом Иваном Бородатым, то ему бы никогда не могло

прийти в голову такое глупое, такое ни на что не похожее и пошлое обвинение

подсудимого в поджигательстве для отвода глаз всей улицы во время

совершения этого мнимого и несообразного ни с чем преступления. Собственный

поджог его именно и навел на мысль". Наконец, возьмите и то, что защитнику

позволяется делать жесты, проливать слезы, скрежетать зубами, рвать свои

волосы, стучать стульями (но не замахиваться ими) и, наконец, падать в

обморок, если он уже очень благороден и не может вынести несправедливости,

что, впрочем, кажется, не позволено прокурору, как бы ни был он благороден,

потому что как-то странно было бы вдруг упасть навзничь чиновнику в

мундире. Не употребляется это вовсе.

Опять-таки все, что я говорю, - карикатура, одна карикатура, и ничего

этого не бывает, а обходится всё на самой благородной ноге, я согласен

(хотя стульями-то стучали и в обморок-то падывали)! Но ведь я только

хлопочу о сущности дела, потому что в самых благороднейших выражениях

доходят до того же самого, как и в неблагороднейших.

- Как, что вы, - укажут мне, - да это-то и надо, именно

преувеличение-то и надо, с обеих сторон! Присяжный иногда человек не столь

образованный, и к тому же занятой, у него там своя лавка, дела, он подчас

рассеян, а подчас так и просто не в силах сам углубиться. А потому именно

его надо углубить, показать ему все фазисы дела, даже самые невозможные,

чтобы он уже вполне был уверен, что обвинением всё, что только может прийти

в голову, уже исчерпано и что думать над этим уже больше нечего, равно как

защитой подведено все, что только возможно и невозможно предположить, к

убелению подсудимого, паче горнего снега. А потому, там в особой комнате,

сводя итоги, они уже знают, так сказать, механически, что должно выскочить,

плюс или минус, так что совестью по крайней мере они могут быть совершенно

спокойны. В результате ясно, что всё это совершенно необходимо для истины,

то есть и ожесточенное нападение и ожесточенная защита, и даже так, что

ожесточенное-то нападение обвинителя, если только взять в самом строгом

смысле, даже полезнее подсудимому, чем самому обвинителю, так что

опять-таки ничего нельзя выдумать лучше.

Одним словом, современный суд не только победа или высший плод ума, но

и самая мудреная вещь. С этим нельзя не согласиться. Суд притом гласный;

стекается публика даже сотнями человек - и неужели предположить, что они

стекаются из праздности, для спектакля только? Нет, конечно: из какого бы

побуждения ни собирались они, а надо, чтобы уходили с впечатлением высшим,

сильным, назидательным и целебным. Между тем все сидят и видят, что тут, в

основе, какая-то ложь - о, не в суде, конечно, не в значении приговора, а

просто, например, в иных привычках, с такою счастливою легкостью

воспринятых у Европы и укоренившихся в наших представителях защиты и

обвинения. Я вот ухожу домой и дома про себя думаю: ведь Ивана

Христофорыча, прокурора, я лично знаю, умнейший и добрейший человек, а

между тем ведь он лгал, и знал, что лгал. Дело какого-нибудь выговора или

двухмесячного заключения он натянул на двадцатилетнюю ссылку в

отдаленнейшие места. Пусть это даже надо для самой ясности дела, но всё же

он лгал, и лгал сознательно, а ведь дело-то об шее человека идет. Как же

это так согласить, особенно если он человек с талантом: ведь il en reste

toujours quelque chose, 3 особенно если защита плоховата и только стульями

умеет стучать. Положим, тут даже самолюбие Ивана Христофоровича

разыгралось, чисто человеческая черта, но извинительная ли в таком важном

деле? Куда же тут человек-то девался, высший-то человек, гуманный,

цивилизованный?

Пусть, пусть, наконец, из этого-то из всего и выходит истина, и

выходит, так сказать, механически даже, самым хитрейшим путем, но ведь

сбирающаяся на суд публика, пожалуй, и впрямь будет собираться тогда на

зрелище, на созерцание механического и хитрейшего пути, и, слушая с

восторгом, как, например, талантливый защитник так отлично лжет против

совести, она чуть не аплодирует ему с своих стульев: "Как, дескать, лжет

хорошо человек!" Ведь от этого зарождается в массе этой публики цинизм и

фальшь, и укореняются незаметно. Жаждут уже не истины, а таланта, лишь бы

повеселил и развлек. Тупеет гуманное чувство, которое уже не восстановите

кувырканьями в обморок. Ну, а представьте опять-таки, если лжец

действительно с огромным талантом?

Я знаю, что всё это лишь праздное с моей стороны нытье. Но послушайте,

учреждение гласного присяжного суда всё же ведь не русское, а скопированное

с иностранного. Неужели нельзя надеяться, что русская национальность,

русский дух когда-нибудь сгладят шероховатости, уничтожат фальшь... дурных

привычек, и дело пойдет уже во всем по правде и по истине. Правда, теперь

это невозможно: теперь именно защита и обвинение блистают этими дурными

привычками, ибо одни ищут денег, а другие карьеры. Но ведь когда-нибудь

можно же будет прокурору даже защищать подсудимого, вместо того чтоб

обвинять его, так что защитники, если бы захотели возразить, что даже и той

малой доли обвинения, которую прокурор всё же оставил на подсудимом, нельзя

применить к нему, то присяжные заседатели им просто бы не поверили.

Я даже так думаю, что такой прием скорее бы и вернее гораздо

способствовал к отысканию истины, чем прежний механический способ

преувеличения, состоящий в крайности обвинения и в зверстве защиты?

Ответят, конечно, что это решительно невозможно, а так как то же самое и в

Европе, то и быть не должно, и что "чем механичнее, тем даже и лучше".

Вот этот механизм-то, этот механический способ вытаскивать наружу

правду, может быть, у нас и заменится... просто правдой. Искусственное

преувеличение исчезнет с обеих сторон. Всё явится искренним и правдивым, а

не игрой в отыскание истины. На сцене будет не зрелище, не игра, а урок,

пример, назидание. Правда, адвокатам будут платить гораздо меньше. Но все

эти утопии возможны будут, разве когда у нас вырастут крылья и все

обратятся в ангелов. Но ведь и судов тогда не будет...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I. РИМСКИЕ КЛЕРИКАЛЫ У НАС В РОССИИ

Недавно "Московские ведомости", Љ 262-й, сделали в своей передовой

статье следующее замечание:

"Третьего дня мы обратили внимание на какую-то партию внутри России,

действующую в согласии с ее врагами и готовую помогать туркам в их борьбе с

нею, - партию русских англо-мадьяр, которой ненавистно всякое проявление

нашего народного духа, всякое действие нашего правительства в этом духе и

которая русский патриотизм ставит на одну линию с нигилизмом и революцией,

- партия, которая питает гнуснейшими корреспонденциями враждебную нам

заграничную печать. Едва была сдана наша статья в печать, как телеграмма

нашего петербургского корреспондента передала нам сущность обнародованного

"Правительственным вестником" сообщения, изобличающего новые проделки этой

партии. В то самое время, когда между Плевной и Орхание наша армия имела

блистательные успехи, в Петербурге интрига распускает слухи о поражении,

будто бы понесенном этими самыми победоносными войсками, стараясь

распространить в публике уныние, и старается так усердно, что правительство

сочло необходимым предостеречь публику от подобных злоумышленных слухов".

"Новое время" заметило по этому поводу на другой же день, вскользь

впрочем, что "Московские ведомости" хватили немножко далеко и что

"Правительственный вестник" разумел, может быть, просто какую-нибудь

болтовню в публике, вовсе не имеющую такого значения. (Излагаю мысль

"Нового времени" своими словами на память.)

Весьма может быть, что и так и что "Правительственный вестник" и

впрямь говорил лишь о какой-нибудь "болтовне". Тем не менее предположение

"Московских ведом<остей>" имеет несомненное основание. Только какие же тут

англо-мадьяры, о которых упоминают "Мос<ковские> вед<омости>"? У нас, на

наших окраинах, да и внутри, свои римские клерикалы найдутся. Теперь уже не

май месяц; теперь уже все знают и пишут о клерикальном всемирном заговоре,

и даже самые либеральные из наших газет согласились, что заговор этот имеет

свою силу. Но странно было бы, если б ватиканский заговор миновал наших

римских клерикалов и не употребил их в дело. Смута, в тылу русских армий,

чрезвычайно была бы выгодна Ватикану, особенно в настоящую минуту. Вот еще

выписка, но уже из "Нового времени", Љ 587. "Новое время" в отделе своем

"Среди газет и журналов" цитует мнение "Голоса", выраженное по поводу

некоторых статей в английской "Morning post" и в некоторых заграничных

польских журналах. Вот эта выписка:

"В "Morning post", от 22-го октября, напечатана любопытная, по своей

неожиданности, статья, где туркофильская газета сообщает о переговорах,

будто бы начатых уже между Россией и Германией, по поводу уступки Германии

Привислинского края по Вислу! Само собою разумеется, что в глазах "Morning

post" это составляет результат сделки, по которой Германия обязуется помочь

"приобретениям России на Балканском полуострове". Лондонская газета

настойчиво толкует далее, что поляки Привислинского края вовсе не думают

теперь о восстании, "не желая попасть еще в горчайшее рабство", то есть во

власть пруссакам, и что если в "русской Польше" произойдут какие-нибудь

беспорядки, то они будут простым последствием "русско-прусских интриг"...

Замечательно, что за несколько дней перед тем, как появилась эта статья в

"Morning post", о том же самом предмете, хотя и в несколько другом тоне,

говорил "Dziennik polsky", сообщив, будто бы русское правительство, выводя

свои войска из Привислинского края, распространило там воззвание к

крестьянам, приглашая их образовать из себя сельскую стражу для наблюдения

за панами и для подавления всяких попыток к мятежу. Передавая содержание

этих статей, "Голос" удивляется, с чего вдруг стали так усердствовать

"Dziennik polsky" и "Morning post"? Для чего понадобилась им нелепая басня

о русском воззвании к привислинским крестьянам и о русско-прусских agents

provocateurs, 4 будто бы старающихся возбудить "искусственное восстание в

"конгрессувке""?

Эти неожиданные выходки должны же иметь какую-нибудь цель. Газеты, их

напечатавшие, вероятно, имеют сведения, заставляющие их опасаться

возникновения беспорядков в Привислинском крае, и стараются заранее

исказить смысл движения, последствий которого они, по-видимому, опасаются.

Прием этот не нов. Он уже употреблялся поляками и их западными друзьями в

1863 году. Одно это воспоминание заставляет уже признать, что статьи

"Dziennik polsky" и "Morning post" не лишены значения и имеют какую-то

таинственную связь с прежними толками мадьярской печати о сочувствии

поляков к туркам и о их тайном желании усложнить положение России

революционною агитацией на нашей западной границе. Любопытно, что эти

статьи совпадают с известием о кандидатуре кардинала Ледоховского на

папский престол. Мы не принадлежим, заявляет "Голос", к числу охотников

придавать преувеличенное значение всем фантастическим комбинациям, за

которые хватаются недоброжелатели России, в надежде помешать благоприятной

для нее развязке нынешней войны. В данном же случае дело кажется нам

настолько серьезным, что нельзя уже оставить без указания такой факт, каким

является неожиданное и ничем, по-видимому, не вызванное появление статей

"Dziennik polsky" и "Morning post"".

Стало быть, есть же нечто похожее на ветви клерикального заговора,

может быть, и у нас? Уж одно известие о кандидатуре Ледоховского,

несомненно польского происхождения, ибо только одна легкомысленная голова

польского заграничного агитатора может серьезно поверить, что римский

конклав, наполненный такими тонкими умами, в состоянии бы был так

шлепнуться избранием Ледоховского, причем новый папа только бы и делал, что

занимался восстановлением отчизны, а не римского и всемирного владычества

пап. Но это в сторону, а ветви клерикального заговора в России все-таки

ясны. "Новое время" прибавляет к тому же, что

"... настойчивая в настоящее время полемика "Journal de St.

-Petersbourg" с итальянскими клерикальными газетами, по поводу мнимого

угнетения католицизма в Польше, как будто показывает, что существуют

признаки какой-то агитации на нашей западной окраине".

Ну, уж вовсе не признаки только. Это, стало быть, именно и есть та

партия, про которую говорят "Московские ведомости", что она "действует в

согласии с врагами России... и что ей ненавистно всякое проявление нашего

народного духа, всякое действие нашего правительства в этом духе, и которая

русский патриотизм ставит на одну доску с нигилизмом и революцией, -

партия, которая питает гнуснейшими корреспонденциями враждебную нам

печать..."

Да, именно европейские корреспонденции из России, очень и очень

возможно, что ее дело, этой партии. Эта радость о неудачах России и

легкомысленное визжание от восторга, что Россия так-де вдруг оказалась

"слаба, без финансов, с расстроенным войском, с недовольным и ропчущим

народом, с нигилизмом, подточившим общество" - все эти небылицы,

несомненно, носят на себе печать столь известного происхождения. О, нельзя,

чтоб не нашлись и русские перья, готовые писать в унисон с клерикалами, но

эти корреспонденции за границу не могут быть, кажется, написаны русскими:

слишком уж было бы это подло. Тем не менее клерикалы, может быть и не очень

стараясь, несомненно направляют даже и русские перья у нас дома. Они их

вовсе, может быть, и не подговаривают, и в сношения с ними, прямые и

надлежащие, не вступают, потому что эти бойкие либеральные перья

принадлежат иногда честнейшим людям, которые, выслушав прямое предложение

клерикала, может быть, спустили бы его даже с лестницы. Но зато клерикал,

особенно у нас обжившийся, отменно знает, что ему и ходить к бойкому перу

не нужно, потому что бойкое русское перо ему и даром всё напишет, -

единственно воображая (о, милые!), что это и честно, и либерально. Бойкое

перо возмущается, например, клерикалами, облепившими во Франции Мак-Магона,

и пишет грозные против них статьи. Но в то же время он русского римского

клерикала не только не заметит, но подчас запоет ему в самый полный унисон.

Есть такие, есть. И хитрые наши римские клерикалы даже, может быть, дивятся

на них: "Ведь охота же это им этак шлепаться между двух стульев, - кивают

они главами своими. - И ведь как бескорыстно! Правда, надобно же быть до

конца либеральным. Ведь вот они кричат, что Россия права даже не имеет

освобождать славян: да ведь за это им мало сто тысяч дать! И всё-то это

между двух стульев, поминутно, да поминутно. Как им не больно только?

Заживает, что ли, у них так скоро..."

II. ЛЕТНЯЯ ПОПЫТКА СТАРОЙ ПОЛЬШИ МИРИТЬСЯ

В начале лета эти агитаторы-клерикалы попробовали у нас сделать

демонстрацию даже через русские издания. Волки перерядились в овец и

заговорили в тоне как будто посланников всей польской "эмиграции" за

границей. Они стали предлагать примирение: примите, дескать, нас, мы видим

тоже, что братство славян несомненно, и не хотим отстать. Говорили они

чрезвычайно нежно и выставили резоны:

"У нас, говорят они, есть инженеры, химики, технологи, ремесленники,

бухгалтеры, агрономы и т. п.". Всего этого много в эмиграции. Пустите их к

себе! "Разве, - говорит житель Литвы, написавший в 172 Љ "СПб. вед."

статью, - нет у вас дела для той среды, которая произвела прежде

Тенгоборского для России, Воловского для Франции? А в деле искусств, столь

обмягчающих нравы и облагораживающих характер, как представители в польском

обществе, в настоящее время всесветно известны: Броцкий скульптор, Матейко

живописец. Вам эти люди не нужны? Что же сказать о сонме литераторов,

публицистов, промышленников, фабрикантов и всякого рода деятелей? Вам эти

люди не нужны тоже?" ("Новое время", из статьи Костомарова).

Г-н Костомаров великолепно ответил в "Новом времени" на все эти

заискивания. Сожалею, что не имею места сделать выписки из этой

превосходной статьи. Рассуждениями ясными и точными доказывает г-н

Костомаров, что всё это лишь нам западня, что наведут они к нам Конрадов

Валленродов, предателей; что поляк Старой Польши инстинктивно, слепо

ненавидит Россию и русских. Г-н Костомаров допускает, однако же, что есть

прекрасные поляки, которые могут жить даже в дружбе с иным русским, спасти

его в беде, одолжить его. Это, конечно, правда, но чуть только этот

русский, хотя бы даже после двадцати лет дружбы, вдруг бы выразил этому

прекрасному поляку свои политические убеждения насчет Польши в русском

духе, то этот поляк тотчас же, тут же, стал бы явным или тайным врагом

своего русского друга, на всю жизнь, до конца, непримиримым и безграничным.

Об этом забыл прибавить г-н Костомаров.

Вся эта летняя попытка "примирения", нашедшая русских защитников и

такого могучего оппонента, как г-н Костомаров, - есть бесспорно

клерикальная к нам подсылка из Европы, отрог всеевропейского клерикального

заговора. О, эти поляки Старой Польши уверяют, что они вовсе не клерикалы,

не паписты, не римляне и что мы давно должны это знать про них. Но

вообразить только, что Старая Польша, эта польская эмиграция, не держится

папы в иезуитском смысле, далека от клерикальных фантазий, - о, какая

смешная мысль! Им ли, им ли не держаться Ватикана, когда они так вполне

сознают его силу и всегда сознавали? Ведь Ватикан не изменял Старой Польше

никогда, а, напротив, поддерживал из всех сил все ее фантазии, когда

другие-то государства их уже и слушать не хотели! Нет, они Ватикану не

изменят, и Ватикан не изменит им. Летняя выходка к примирению была сделана

именно в то время, когда вся эмиграция задвигалась против русских, когда

созидались польские легионы, когда аристократы эмиграции являлись в

Константинополь с огромными суммами денег (конечно, не своими). Всё это

примирение было одно только коварство, как определил его г-н Костомаров.

Кстати: они предлагают нам своих ученых, техников, художников и говорят:

"Примите их, они ль вам не нужны!" Тут бы прибавить, что они, вероятно,

считают нас диким народом и не ведают, что у нас всё то, что они

предлагают, может быть, и лучше ихнего есть. Но обижаться нечего, а

главное: зачем же они не едут? У нас было несколько поляков, которые

проявили свой талант, и Россия их почитала, уважала, ставила на высоту,

нисколько не разделяя их от русских. К чему же уговариваться? Приезжайте!

Примиритесь и покоритесь сами, но знайте, что никогда не будет Старой

Польши. Есть Новая Польша, Польша, освобожденная царем, Польша

возрождающаяся и которая, несомненно, может ожидать впереди, в будущем,

равной судьбы со всяким славянским племенем, когда славянство освободится и

воскреснет в Европе. Но Старой Польши никогда не будет, потому что ужиться

с Россией она не может. Ее идеал - стать на месте России в славянском мире.

Ее девиз, обращенный к России: "Otes-toi de la que je m'y mette". 5

Любопытно, что польский передовой застрельщик говорит лишь об ученых и

художниках. Ну, а предводители эмиграции, аристократы? Вообразить только

картину, что Россия поддалась льстивым словам и объявила, что хочет

мириться; и вот они сидят и надменно спрашивают: "Какие ваши условия?"

Потому что если вы предлагаете нам впустить эмигрантов в Россию, а

сами они не идут, значит, они дожидаются условий. И вот, представьте себе,

что Россия их вдруг признает за нечто, за воюющую сторону, и начнет эти

переговоры! И вот они перебираются в Россию, магнаты с первого же разу

фрондируют, требуют знатных мест и отличий; затем тотчас же кричат на всю

Европу, что их обманули, затем начинают польский бунт... И Россия поддастся

на такую беду, сделает такую глупость! Разумеется, поляки не могли верить

сами, чтобы такая грубая выходка их могла обмануть Россию. Но на чистых

сердцем русских сторонников они рассчитывали. Что это дело клерикалов,

клерикальный шаг в Россию, - в этом нет сомнения. Спросят: для чего же этот

шаг? А разве клерикалам не надо сондировать положение, путать мысли,

скрывать настоящие свои шаги, приобретать русские перья, волновать русскую

Польшу и проч., и проч.? Да мало ли какие у них могли быть расчеты!

III. ВЫХОДКА "БИРЖЕВЫХ ВЕДОМОСТЕЙ". НЕ БОЙКИЕ, А ЗЛЫЕ ПЕРЬЯ

Мы говорили сейчас про "бойкие перья". Но есть у нас перья вовсе не

бойкие, но отвратительные. И они тоже (да еще как) свищут с польскими

соловьями в унисон, но поляки их даже и не направляют; всё делается

бескорыстно, не ведая что творят. Тут просто злоба, обманутые надежды и

потерпевшее самолюбие. Такова статья "Биржевых ведомостей" (Љ 257) о

господине Иловайском; хоть бы написать-то сумели, а то ведь так против себя

и валяют!

Всем известно, что наш ученый, г-н Иловайский, был арестован и

оскорблен в Галиции. Проезжая с ученою целью Галицию, он обратился, по

ошибке, к одному польскому ксендзу с просьбою указать ему местные

древности. Потом он уже нашел русского священника, но злобный ксендз тотчас

же донес на него, под предлогом, что это русский панславист, пропагатор и

агитатор. Г-на Иловайского арестовали безо всякой церемонии, обыскивали,

возили из тюрьмы в тюрьму и наконец-то, заступничеством одного местного

ученого, его препроводили до русской границы. У нас это тотчас же

разгласилось: "Московские ведомости" поместили статью. Заговорили наши

газеты, но многие без особого жару, а просто как о курьезе. Факт

оскорбления русского ученого, ни за что ни про что, показался, кажется,

всем обыкновенным фактом. Сам г-н Иловайский напечатал в "Московских

ведомостях" тоже несколько строк на статьи враждебных газет, кротких строк,

вялых и сонных. Но зато наши биржевики, которым вся Россия представляется

лишь с точки зренья своего кармана и которым до России ровно никакого нет

дела, услужили ей удивительную услугу. Вот эта статья "Биржевых

ведомостей":

"...Что такое начудил г-н Иловайский в Галиции? Какую это он затеял

там пропаганду?

Неужели несчастия, переживаемые теперь Россией, недостаточны еще для

того, чтобы выгнать дурь из головы наших закорузлых панславистов, и неужели

после того, что происходит теперь у всех на глазах, у них хватает духа

продолжать юродство и скоморошество с этой всеславянской чепухой,

приготовляющей для нас неисчисляемые государственные бедствия и всем нам

давно уже опротивевшей?

Пока наши отупевшие от ничегонеделанья панслависты ограничивались

пересылкой всеславянских колоколов, это ни до кого не касалось, и они могли

забавляться этим сколько угодно, но когда они вместе с колоколами начинают

посылать туда своих пономарей для благовеста, - дело получает уже совсем

иное значение.

Кто же призвал и кто уполномочил г-на Иловайского на его

панславистскую пропаганду?

Понимает он или не понимает, к каким она может привести последствиям,

в особенности теперь, в настоящую минуту? Вы извергаете, господа,

ругательства на Клапку за то, что тот подстрекает мадьяр на пособничество

туркам, - а что же делаете вы сами, что делает г-н Иловайский, под видом

изучения славянских древностей? Что, вам мало еще того зла, которое

породило ваше прошлогоднее юродство? Чего вы еще хотите? Какую еще новую

кашу вы заварить желаете? Чтобы бросить камень в воду, вас достанет на это,

мы это хорошо знаем; но вы должны помнить также, что камни, вами бросаемые,

приходится иногда вытаскивать всеми народными силами, добывать их ценою

кровавых жертв и народного истощения.

Перестаньте же дурачиться; на всё есть свое время. Если до сих пор во

всех благоразумных людях вы возбуждали к себе только насмешку, то теперь к

вам не иначе будут относиться, как с негодованием".

Эти люди говорят о негодовании! Послушайте, как смели вы написать, не

зная дела, так утвердительно, на всю Россию и на всю Европу (ибо ваша

статья имела в Европе свое значение), - как смели вы написать про г-на

Иловайского: "Кто же призвал и кто уполномочил г-на Иловайского на его

панславистскую пропаганду"? И потом, после смешного сравнения г-на

Иловайского с Клапкой: "А что же делаете вы сами, что делает г-н

Иловайский, под видом изучения славянских древностей?" Как смели вы

написать об этом так утвердительно, после того как совершенно знаете, что

всё это неправда? Неужто вы думаете, что вам позволят предавать Россию. Вы

спрашиваете о г-не Иловайском: "Понимает он или не понимает", а я вас

самого спрошу, г-н публицист: понимаете ли вы или не понимаете, что вы

наделали! Ведь в Австрии не спросят: какой человек это писал, умный или

неумный, образованный или необразованный, знает он хоть что-нибудь в

панславизме или ничего не знает и никогда ничего не читал об нем? Ведь в

Австрии прямо скажут: "Стало быть, правда, что Россия посылает агитаторов?

Если б не правда была, как могла бы так утвердительно, с таким жаром и так

укоризненно обращаться к панславистам большая петербургская ежедневная

независимая газета, в высшей степени подтверждающая факт рассылки эмиссаров

для агитаторства? Ведь писавший это сам русский, скажут они, его бы

остановил патриотизм, наконец, и побудил бы скрыть преступленье. Но он не

мог скрыть истину, потому что негодование патриота вылилось наружу на

панславистов, готовящих, стало быть, действительно страшные бедствия России

своей отчаянной пропагандой и агитацией в Австрии и в славянских землях.

Стало быть, нам нечего извиняться за арест какого-то там Иловайского,

напротив, надо усилить аресты и всех русских в Австрии держать впредь под

полицейским надзором. Не нам просить извинения, а русское правительство

должно просить у нас извинения за то, что так открыто позволяет у себя

деятельность зловредных политических, направленных против Австрии обществ,

а к нам пропускает поминутно массами пропагаторов и агитаторов, бунтующих

австрийских славян против законного правительства".

Это несомненно скажут в Австрии и статью вашу несомненно примут к

сведению в этом самом смысле, г-н публицист. Что же это, не предательство,

как вы думаете? Не предаете вы интересы России полякам и австрийцам? Не

поддерживаете вы политическую смуту и не служите ей? Ведь вы знаете

наверно, вполне, в точности, что никаких эмиссаров не посылалось никем

никогда, как же вы смели написать про г-на Иловайского, что он ездил сеять

смуту под видом изучения славянских древностей? Есть ли кто в России, кто

вам в этом поверит? Между тем вы выражаетесь об этом деле так

утвердительно, как будто знаете его, как свои пять пальцев. Кто же сеет

смуту?

Теперь о другом: утолив вашу злобу, написав заведомую неправду, вы

позволяете еще себе надеяться, после вашего-то поступка столь явного

предательства русских интересов старополякам и австрийцам, и всякой

бесконечной и вечно агитирующей против нас европейской швали, - на

сочувствие к вам русских читателей? Неужели вы так низко об них думаете?

И что за тон? Что за трепетание, что за принижение перед Австрией!

"Изволит, дескать, она осердиться!" У Гоголя атаман говорит казакам:

"Милость чужого короля, да и не короля, а милость польского магната,

который желтым чеботом своим бьет их в морду, дороже для них всякого

братства". Это атаман говорит про предателей. Неужели вам хочется, чтобы и

русские, в трепете животного страха за свои интересы и деньги, склонялись

точно так же перед каким-нибудь желтым чеботом? Напротив, не лучшая ли наша

политика с Австрией, именно теперь, именно в эту минуту, - политика высшего

собственного национального достоинства, а не та, которую вы желаете. Ведь

чем более мы выкажем принижения, которого вы так желаете, тем более и в той

же степени укрепим и усилим ее домогательства. Да и чего нам бояться

Австрии, она никогда не в силах будет извлечь против нас свой меч, если б и

захотела того. Напротив, именно теперь настала пора для политики прямой и

откровенной, для того, чтобы не вышло потом, при окончании войны, печальных

недоразумений. Нам нечего давать на себя векселя. Точно так же мы должны

смотреть и на Англию. Они должны понять по крайней мере, что мы их не можем

бояться и что мы, напротив, в силах им сделать больше зла, чем они нам.

Это они должны знать, между тем они об нас имеют ложные сведения,

укрепляемые вот именно такими выходками, как "Биржевых ведомостей". Не в

Австрии ли поддерживалось летом убеждение, что сила России была мираж, всех

обманувший, и что впредь нельзя считать уже Россию сильной военной

державой. Вот тогда-то и возрос ее тон. Не в Англии ли были убеждены, тоже

в высших сферах, что 10 000 человек английского войска, высаженные в

Трапезунде, порешили бы навсегда нашу задачу на Востоке и на Кавказе. Мы-то

их знаем, а они-то нас, стало быть, не знают. Но плохая услуга России

предавать ее интересы недругам нашим и представлять ее в трусливом и

приниженном виде, тогда как этого нет нисколько и всё ложь.

НОЯБРЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I. ЧТО ЗНАЧИТ СЛОВО: "СТРЮЦКИЕ"?

В два года издания моего "Дневника" я, раза два-три, употребил

малоизвестное слово "стрюцкие" и получил несколько запросов, из Москвы и из

губерний: "Что значит слово "стрюцкие""? Извиняюсь, что не ответил никому

до сих пор: всё хотел как-нибудь, между строчками, ответить в "Дневнике".

Теперь, заканчивая "Дневник", отведу несколько строк и непонятному

петербургскому словцу, и если начинаю с этой мелочи первую страницу

ноябрьского выпуска, то именно потому, что, откладывая на последнюю

страницу, как прежде делывал, почти всегда не находил свободного места для

"стрюцких" из-за других тем, и каждый раз приходилось откладывать

объяснение опять до следующего выпуска.

Слово "стрюцкий, стрюцкие" есть слово простонародное, употребляющееся

единственно в простом народе и, кажется, только в Петербурге. Так что это

слово, кажется, и изобретено в Петербурге. Пишу: кажется, потому что

сколько ни расспрашивал людей "компетентных", не мог ни от кого добиться:

откуда оно взялось, почему так сложились звуки его, употребляется ли оно

хоть где-нибудь в России кроме Петербурга и, наконец, - действительно ли в

Петербурге оно изобретено? Что до меня, то мне опять-таки "кажется"

(утвердительнее не могу выразиться), что слово это есть слово чисто

петербургское и изобретено собственно петербургским простонародьем, но кем,

когда, давно ли? - не знаю. Означает же оно, по неоднократным расспросам

моим у народа, и сколько я понял, следующее:

"Стрюцкий" - есть человек пустой, дрянной и ничтожный. В большинстве

случаев, а может быть и всегда, - пьяница-пропоица, потерянный человек.

Кажется, впрочем, стрюцким мог бы быть назван, в иных случаях, и не

пьяница. Но главные свойства этого пустого и дрянного пьянчужки,

заслужившие ему особое наименованье, выдумку целого нового слова, - это,

во-первых, пустоголовость, особого рода вздорность, безмозглость,

неосновательность. Это крикливая ничтожность. Кричат вечером в праздник на

улице пьяные; слышен спор, исступленный зов городового; в сбившейся в кучу

толпе ясно отличается чей-то протестующий, взывающий, жалующийся и

угрожающий голос. Много напускного гнева. Вы подходите, осведомляетесь, что

такое? В ответ смеются, махают рукой и отходят: "Пустяки, стрюцкие!" Слово

"стрюцкие" произносится при этом с пренебрежением, с презрением. Всегда с

презрением, и если б действительно этот кричащий человек был прибит или

обижен, то и тут, кажется, не нашел бы сочувствия, а только презрение,

потому что он лишь "стрюцкий", то есть всё в нем вздор, и что кричит он - и

то всё вздор, и что прибили его - и то вздор, самый "нестоящий человек",

какой есть. Прибавлю, что стрюцкие большею частью в худом платье, одеты не

по сезону, в прорванных сапогах. Прибавлю тоже, что, "кажется", стрюцким

обзывается только тот, кто в немецком платье. Впрочем, не ручаюсь, но,

кажется, это так.

Второй существенный признак пьяницы-пропоицы, называемого "стрюцким",

кроме вздорности и неосновательности его, - есть недостаточно определенное

положение его в обществе. Мне думается, что человек, имеющий деньги, дом

или какое-нибудь имение, мало того, имеющий чуть-чуть твердое и

определенное место, хотя бы и рабочим на фабрике, не мог бы быть назван

"стрюцким". Но если у него есть и заведение, лавка, лавочка или что-нибудь,

но ведет он всё это неосновательно, как-нибудь, без расчета, то он может

попасть в стрюцкие. Итак, "стрюцкий" - это ничего не стоящий, не могущий

нигде ужиться и установиться, неосновательный и себя не понимающий человек,

в пьяном виде часто рисующийся фанфарон, крикун, часто обиженный и всего

чаще потому, что сам любит быть обиженным, призыватель городового, караула,

властей - и всё вместе пустяк, вздор, мыльный пузырь, возбуждающий

презрительный смех: "Э, пустое, стрюцкий".

Повторяю, мне кажется, это слово есть исключительно петербургское. Но

употребляется ли в других местах России - не знаю. В простонародье в

Петербурге оно очень распространено. В Петербурге очень много наплывного

народа из губерний, а потому довольно вероятно, что словцо может перейти и

в другие губернии, если еще не перешло. Войдет, может быть, и в литературу;

кажется, и другие писатели, кроме меня, его употребляли. В этом слове для

литератора привлекательна сила того оттенка презрения, с которым парод

обзывает этим словом именно только вздорных, пустоголовых, кричащих,

неосновательных, рисующихся в дрянном гневе своем дрянных людишек. Таких

людишек много ведь и в интеллигентных кругах, и в высших кругах - не правда

ли? - только не всегда пьяниц и не в прорванных сапогах, но в этом часто

всё и различие. Как удержаться и не обозвать иногда и этих высших

"стрюцкими", благо слово готово и соблазнительно тем оттенком презрения, с

которым выговаривает его народ?

II. ИСТОРИЯ ГЛАГОЛА "СТУШЕВАТЬСЯ"

Кстати, по поводу происхождения и употребления новых слов. В

литературе нашей есть одно слово: "стушеваться", всеми употребляемое, хоть

и не вчера родившееся, но и довольно недавнее, не более трех десятков лет

существующее; при Пушкине оно совсем не было известно и не употреблялось

никем. Теперь же его можно найти не только у литераторов, у беллетристов,

во всех смыслах, с самого шутливого и до серьезнейшего, но можно найти и в

научных трактатах, в диссертациях, в философских книгах; мало того, можно

найти в деловых департаментских бумагах, в рапортах, в отчетах, в приказах

даже: всем оно известно, все его понимают, все употребляют. И однако, во

всей России есть один только человек, который знает точное происхождение

этого слова, время его изобретения и появления в литературе. Этот человек -

я, потому что ввел и употребил это слово в литературе в первый раз - я.

Появилось это слово в печати, в первый раз, 1-го января 1846 года, в

"Отечественных записках", в повести моей "Двойник, приключения господина

Голядкина".

Первая повесть моя "Бедные люди" была начата мною в 1844 году, была

окончена, стала известна Белинскому и была принята Некрасовым для его

альманаха "Петербургский сборник" в 1845 году. Вышел этот альманах в конце

45-го года. Но в этом же 1845 году я и начал летом, уже после знакомства с

Белинским, эту вторую мою повесть "Двойник, приключения господина

Голядкина". Белинский, с самого начала осени 45-го года, очень

интересовался этой новой моей работой. Он повестил об ней, еще не зная ее,

Андрея Александровича Краевского, у которого работал в журнале, с которым и

познакомил меня и с которым я и уговорился, что эту новую повесть "Двойник"

я, по окончании, дам ему в "Отечественные записки" для первых месяцев

наступающего 46-го года. Повесть эта мне положительно не удалась, но идея

ее была довольно светлая, и серьезнее этой идеи я никогда ничего в

литературе не проводил. Но форма этой повести мне не удалась совершенно. Я

сильно исправил ее потом, лет пятнадцать спустя, для тогдашнего "Общего

собрания" моих сочинений, по и тогда опять убедился, что эта вещь совсем

неудавшаяся, и если б я теперь принялся за эту идею и изложил ее вновь, то

взял бы совсем другую форму; но в 46-м году этой формы я не нашел и повести

не осилил.

Тем не менее, кажется, в начале декабря 45-го года, Белинский настоял,

чтоб я прочел у него хоть две-три главы этой повести. Для этого он устроил

даже вечер (чего почти никогда не делывал) и созвал своих близких. На

вечере, помню, был Иван Сергеевич Тургенев, прослушал лишь половину того,

что я прочел, похвалил и уехал, очень куда-то спешил. Три или четыре главы,

которые я прочел, понравились Белинскому чрезвычайно (хотя и не стоили

того). Но Белинский не знал конца повести и находился под обаянием "Бедных

людей". Ну вот тут-то, на этом чтении и употреблено было мною, в первый

раз, слово "стушеваться", столь потом распространившееся. Повесть все

забыли, она и стоит того, а новое слово подхватили, усвоили и утвердили в

литературе.

Слово "стушеваться" значит исчезнуть, уничтожиться, сойти, так

сказать, на нет. Но уничтожиться не вдруг, не провалившись сквозь землю, с

громом и треском, а, так сказать, деликатно, плавно, неприметно

погрузившись в ничтожество. Похоже на то, как сбывает тень на затушеванной

тушью полосе в рисунке, с черного постепенно на более светлое и наконец

совсем на белое, на нет. Должно быть, в "Двойнике" это словцо было мною

употреблено удачно в тех первых же трех главах, которые я прочел у

Белинского, при изображении того, как умел кстати исчезнуть со сцены один

досадный и хитренький человечек (или вроде того, я забыл). Потому так

говорю, что новое словцо не возбудило никакого недоумения в слушателях,

напротив, всеми было вдруг понято и отмечено. Белинский прервал меня именно

с тем, чтоб похвалить выражение. Все слушавшие тогда (все и теперь живы)

тоже похвалили. Очень помню, что похвалил и Иван Сергеевич Тургенев (он,

верно, теперь позабыл). Хвалил потом очень и Андрей Александрович

Краевский. Кроме этих существуют и еще лица, которые, я думаю, могут

припомнить, что и они капельку поинтересовались тогда новым словцом. Но

принялось оно и вошло в литературу не сейчас, а весьма постепенно и

неприметно. Помню, что выйдя, в 1854 году, в Сибири из острога, я начал

перечитывать всю написанную без меня за пять лет литературу ("Записки

охотника", едва при мне начавшиеся, и первые повести Тургенева я прочел

тогда разом, залпом, и вынес упоительное впечатление. Правда, тогда надо

мной сияло степное солнце, начиналась весна, а с ней совсем новая жизнь,

конец каторги, свобода!), - итак, начав перечитывать, я был даже удивлен,

как часто стало мне встречаться слово "стушеваться". Потом, в шестидесятых

годах, оно уже совершенно освоилось в литературе, а теперь, повторяю, я

даже в деловых бумагах, публикуемых в газетах, его встречаю, и даже в

ученых диссертациях. И употребляется оно именно в том смысле, в котором я в

первый раз его употребил.

Впрочем, если я и употребил его в первый раз в литературе, то изобрел

его всё же не я. Словцо это изобрелось в том классе Главного инженерного

училища, в котором был и я, именно моими однокурсниками. Может быть, и я

участвовал в изобретении, не помню. Оно само как-то выдумалось и само

ввелось. Во всех шести классах Училища мы должны были чертить разные планы,

фортификационные, строительные, военно-архитектурные. Умение хорошо

начертить план самому, своими руками, требовалось строго от каждого из нас,

так что и не имевшие охоты к рисованию поневоле должны были стараться во

что бы то ни стало достигнуть известного в этом искусства. Баллы,

выставляемые за рисунки планов, шли в общий счет и влияли на величину

среднего балла. Вы могли выходить из верхнего офицерского класса на службу

превосходным математиком, фортификатором, инженером, но если представленные

вами рисунки были плоховаты, то выставляемый за них балл, идя в общий

расчет, до того мог уменьшить вам средний балл, что вы могли лишиться

весьма значительных льгот при выпуске, например, следующего чина, а потому

все старались научиться рисовать хорошо. Все планы чертились и

оттушевывались тушью, и все старались добиться, между прочим, уменья хорошо

стушевывать данную плоскость, с темного на светлое, на белое, и на нет;

хорошая стушевка придавала рисунку щеголеватость. И вдруг у нас в классе

заговорили: "Где такой-то? - Э, куда-то стушевался!" - Или, например,

разговаривают двое товарищей, одному надо заниматься: "Ну, - говорит один

садящийся за книги другому, - ты теперь стушуйся". Или говорит, например,

верхнеклассник новопоступившему из низшего класса: "Я вас давеча звал, куда

вы изволили стушеваться?" Стушеваться именно означало тут удалиться,

исчезнуть, и выражение взято было именно с стушевывания, то есть с

уничтожения, с перехода с темного на нет. Очень помню, что словцо это

употреблялось лишь в нашем классе, вряд ли было усвоено другими классами, и

когда наш класс оставил Училище, то, кажется, с ним оно и исчезло. Года

через три я припомнил его и вставил в повесть.

Написал я столь серьезно такое пространное изложение истории такого

неважного словца - хотя бы для будущего ученого собирателя русского

словаря, для какого-нибудь будущего Даля, и если я читателям теперь надоел,

то зато будущий Даль меня поблагодарит. Ну так пусть для него одного и

написано. Если же хотите, то, для ясности, покаюсь вполне: мне, в

продолжение всей моей литературной деятельности, всего более нравилось в

ней то, что и мне удалось ввести совсем новое словечко в русскую речь, и

когда я встречал это словцо в печати, то всегда ощущал самое приятное

впечатление; ну, теперь, стало быть, вы поймете, почему я нашел возможным

описать такие пустяки даже в особой статейке.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I. ЛАКЕЙСТВО ИЛИ ДЕЛИКАТНОСТЬ?

Известно, что все русские интеллигентные люди чрезвычайно деликатны,

то есть в тех случаях, когда они имеют дело с Европой или думают, что на

них смотрит Европа, - хотя бы та, впрочем, и не смотрела на них вовсе. О,

дома, про себя и между собою, мы свое возьмем, дома весь европеизм по боку

- взять лишь, походя, наши отношения семейные, гражданские, чести, долга, в

самом огромном большинстве случаев. Да и кто из проповедующих "европейские"

идеи серьезно у нас в них верит? Конечно, лишь люди честные и при этом

непременно добрые (так что и верят-то лишь по доброте души), но ведь много

ль у нас таких-то? Если уж всё говорить, так ведь у нас, может быть, нет ни

одного европейца, потому что мы и неспособны быть европейцами. Умы же

передовые, биржевые и всячески руководящие берут у нас с европейских идей

лишь оброк, и я думаю, что это у нас так и есть, повсеместно. Не говорю,

конечно, про людей с большим здравым смыслом: те не верят в европейские

идеи, потому что и верить-то не во что, ибо никогда и ничто на свете не

отличалось такою неясностью, туманностью, неопределенностью и

неопределимостыо, как тот "цикл идей", который мы нажили себе в

двухсотлетний период нашего европейничания, - а в сущности не цикл, а хаос

обрывков чувств, чужих недопонятых мыслей, чужих выводов и чужих привычек,

но особенно слов, слов и слов - самых европейских и либеральных, конечно,

но для нас всё же слов и только слов.

Объяснить всё это прямо попугайством нельзя. Тоже и лакейством мысли

нельзя, русским лакейством мысли перед Европой. Лакейства мысли у нас много

и очень даже, но высшая причина нашей европейской кабалы всё же не

лакейство, а скорее наша русская, врожденная нам деликатность перед

Европой. Скажут, что ведь это, пожалуй, одно и то же, что и лакейство. Во

многих случаях - да, но нельзя сказать, чтоб всегда. (Я, разумеется, об

руководящих плутах, о которых заметил выше, и не говорю: этим европейцам до

Европы ровно никакого дела нет и никогда не бывало. Они, как умные люди, в

мутной воде рыбу ловят, все два века ловили.)

Вот как говорит, например, англичанин Гладстон о теперешней русской

войне с Турцией:

"Что бы ни говорили о некоторых других главах русской истории,

освобождением многих миллионов порабощенных народов от жестокого и

унизительного ига Россия окажет человечеству одну из самых блестящих услуг,

какие только помнит история, услугу, которая никогда не изгладится из

благодарной памяти народов".

Как вы думаете, откровенно спрашивая, мог ли бы произнесть такие слова

русский европеец? Да никогда в жизни! Он проглотил бы язык свой прежде, чем

это произнести; он от деликатности не то что перед Европой, а перед самим

собой покраснеет, если только услышит это или прочтет по-русски и у

русского. Помилуйте, да как мы смеем... в калашный ряд!.. И "для всего

человечества" - это мы-то, русские! Да мы еще рылом не вышли для этого, у

нас еще рожа крива, чтоб "освобождать человечество". И при этом всё

нелиберальные такие мысли: "Россия освобождает народы" - какая

нелиберальная мысль!

Вот искреннее мнение русского европейца чистого типа, и он отрубит

себе сначала пальцы, чем напишет то же, что и Гладстон. "Гладстону-де

можно, пожалуй, так сочинять; он или не понимает ничего в России, или себе

на уме сочиняет, для дальнейших целей" - вот что думает европеец. А иные из

них, подобрее и погорячее, тут же, пожалуй, прибавят про себя не без

гордости: "А ведь мы, русские европейцы, пожалуй что и либеральнее

европейских-то европейцев, дальше пошли: кто у нас из трезвых умов

заикнется теперь об каком-то "освобождении народов"? Вот ретроградство-то!

И Гладстон такие вещи говорит не стыдясь!"

Как это всё назвать, господа? Лакейством или деликатностью перед

Европой?

Я всё стою на том, что в европейском периоде нашей истории огромную

роль играла деликатность. Ведь из этих европейцев наших так много людей

честнейших, смелых, людей чести, хоть и чужой, усвоенной, хоть и не

понимаемой, может быть, самим-то рыцарем, потому что всё же это европейская

для него тарабарщина, но всё же чести, - людей, которые лично себе на ногу

наступить не позволят. Ну как же прямо так-таки и назвать их лакеями? Нет,

деликатность заела нас, а не лакейство. Опять-таки, разумеется, перед

Европой деликатность: у себя дома мы свое наверстаем.

Дамы, восторженно подносившие туркам конфеты и сигары, разумеется,

делали это тоже из деликатности: "Как, дескать, мы мило, нежно, мягко,

гуманно, европейски просвещены!" Теперь этих дам вразумили отчасти

некоторые грубые люди, но прежде, до вразумления, - ну, положим, на другой

день после того поезда турок, в который бросали букетами и конфетами, - что

если б прибыл другой поезд с турками же, а в нем тот самый башибузук, о

котором писали, что особенно отличается умением разрывать с одного маху,

схватив за обе ножки, грудного ребенка на две части, а у матери тут же

выкроить из спины ремень? Да, я думаю, эти дамы встретили бы его визгом

восторга, готовы были бы отдать ему не только конфеты, но что-нибудь и

получше конфет, а потом, пожалуй, завели бы речь в дамском своем комитете о

стипендии имени его в местной гимназии. О, поверьте, что деликатность до

всего может у нас дойти, и предположение это вовсе не фантастическое.

Смотря на себя в зеркало, эти дамы, я думаю, сами бы влюблялись в себя:

"Какие мы гуманные, какие мы либеральные милочки!" И неужели вы думаете,

что эта фантастическая картинка не могла бы осуществиться? Тот высокомерный

взгляд, который бросает иной европеец теперь на народ наш и на движение

его, отрицая во всем народе нашем всякую мысль и движение, "кроме

глупо-кликушечьих выходок из тысячей простонародья какого-нибудь одного

дурака", неужели такой взгляд, возможность такого взгляда, обратившаяся в

действительность, не стоит изображенной выше фантастической картинки?

Деликатность перед Европой с нами повсеместно. Турецкие пленные

потребовали белого хлеба, и им явился белый хлеб. Турецкие пленные

отказались работать. Князь Мещерский, очевидец, повествует в своем

"Дневнике" с Кавказа, что -

"Пленные наши выехали из Тифлиса. Их хотели везти на перекладных, но

они взбунтовались и изволили объявить, что не поедут, ибо не привыкли к

русским телегам. Вследствие этого им поданы были почтовые кареты и

рессорные экипажи, с шестернями лошадей к каждому экипажу. На это они

изволили заявить свое удовольствие, и, вследствие огромного числа забранных

под них лошадей, бедные проезжающие по Военно-Грузинской дороге будут

сидеть трое суток без лошадей. А офицеру русской службы, сопровождающему

их, назначено 50 коп. суточных, и посадили его не в карету, а как сажают

прислугу в омнибус! Все это гуманность!" ("Моск. ведом." Љ 273).

То есть не гуманность, а именно вот та самая деликатность перед

европейским мнением о нас, чуткость, чувствительность: "Европа, дескать, на

нас глядит, надо, стало быть, в полном мундире быть и пашам кареты подать".

"Московские ведомости" далее, в другом своем, 282 номере передают о

целом вопле голосов в Москве, когда увидели москвичи все те неслыханные

удобства, с которыми перевозят у нас пленных турок:

"Все пленные рядовые были удобно размещены в вагонах третьего, офицеры

второго класса, а паша занял купе первоклассного вагона. Зачем для них

такие удобства? - слышалось в публике. - Наших-то гренадер, небось, вывезли

из Москвы в лошадиных вагонах, а для них отпускают особый пассажирский

поезд.

- Что гренадеры, - замечает в толпе какой-то купчик, - вот даже

раненых солдатиков возили в товарных вагонах и соломки под них не успели

подкладывать. А паша-то какой откормленный, что твой боров, в товарный бы

его, пусть бы с него жиру немного посбавилось.

- Там-то раненых наших прирезывали, жилы из них тянули, медленным

огнем жгли, а теперь их холят за то...

Такие голоса (замечают далее "М. вед.") были не единичными, а ими

выражалось общее в народе мнение о том, что больно видеть, как башибузуки и

вся эта турецкая рвань, обобранная своими же собственными пашами,

пользуется такими большими удобствами сравнительно с нашими воинами..."

То есть мы, собственно, ничего тут особого не видим: деликатность или,

так сказать, мундир деликатности перед европейским мнением - вот и всё тут;

но ведь это, так сказать, два века у нас продолжается, так уж пора

попривыкнуть.

Дошло до анекдотов, то вот и еще анекдот. Отметил я его в

"Петербургской газете", а та взяла из письма господина В. Крестовского,

писанного с театра военных действий, но куда, не знаю. Откудова

заимствовано "Петербургской газетой", тоже не ведаю. Говорится так:

"В письме г-на Крестовского приводится один комический факт: "Около

свиты появился какой-то англичанин в пробковом шлеме и статском пальто

горохового цвета. Говорят, что он член парламента, пользующийся вакационным

временем для составления корреспонденции "с места военных действий" в одну

из больших лондонских газет ("Тimes"); другие же уверяют, что он просто

любитель, а третьи, что он друг России. Пускай всё это так, но нельзя не

заметить, что этот "друг России" ведет себя несколько эксцентрично: сидит,

например, в присутствии великого князя в то время, когда стоят все, не

исключая даже и его высочества; за обедом встает, когда ему вздумается,

из-за стола, где сидит великий князь, и в этот день обратился даже к одному

знакомому офицеру с предложением затянуть на него в рукава гороховое

пальто. Офицер окинул его с ног до головы несколько удивленным взглядом,

улыбнулся слегка, пожал плечами и беспрекословно помог одеть пальто.

Конечно, более ничего и не оставалось сделать. Англичанин в ответ слегка

приложился рукою к своему пробковому шлему"".

"Петербургская газета" назвала этот факт комическим. К сожалению, я

ровно ничего в нем не вижу комического, а, напротив, очень много досадного

и портящего кровь. К тому же в нас как бы укрепилась с детства вера (из

романов и из французских водевилей, я думаю), что всякий англичанин чудак и

эксцентрик. Но что такое: чудак? Не всегда же дурак или такой уж наивный

человек, который и догадаться не может, что на свете не всё же ведь одни и

те же порядки, как где-то там у него в углу. Англичане народ очень,

напротив, умный и весьма широкого взгляда. Как мореплаватели, да еще

просвещенные, они перевидали чрезвычайно много людей и порядков во всех

странах мира. Наблюдатели они необыкновенные и даровитые. У себя они

открыли юмор, обозначили его особым словом и растолковали его человечеству.

Такому ли человеку, да еще члену парламента, не знать, где вставать, где

сидеть? Да нет страны, в которой этикет имел бы большее приложение, как в

Англии. Придворный, например, английский этикет есть самый сложный и

утонченный этикет в мире. Если этот англичанин член парламента, то,

конечно, слишком мог научиться этикету из одного того уже, как один

парламент - нижний сносится с другим - высшим. И именно в том смысле: кто

перед кем может сидеть, а кто перед кем обязан вставать. Если он при этом и

член высшего общества, то опять-таки нигде нет такого этикета, как на

приемах, обедах, балах английской аристократии во время ихнего лондонского

сезона. Нет, тут совсем другое, если судить по тому, как изложен анекдот.

Тут английская гордость, но не просто гордость, а с заносчивым вызовом.

Этот "друг России" не может быть большим ее другом. Он сидит, смотрит на

русских офицеров и думает: "Господа, я знаю, что вы львы сердцем, вы

предпринимаете невозможное и исполняете его. Страха перед врагом в вас нет,

вы герои, вы Баярды все до единого, и чувство чести вам знакомо вполне. Не

могу же я не согласиться с тем, что своими глазами вижу. Тем не менее я

англичанин, а вы только русские, я европеец, а перед Европой вы обязаны

"деликатностыо". Какие бы вы львиные сердца ни носили в себе, а я все-таки

высшего типа человек, чем вы. И мне это очень приятно, особенно приятно

изучать "деликатность" вашу передо мной, врожденную и неотразимую, без

которой русский не может смотреть на иностранца, тем более на такого

иностранца, как я. Вы думаете, что это всё мелочи; да мелочи-то и утешают

меня, весьма забавляют, я поехал прогуляться, я слышал, что вы герои, и

приехал посмотреть на вас, но ворочусь все-таки с убеждением, что, как сын

Старой Англия (тут у него дрожит от гордости сердце), я все-таки на свете

первый человек, а вы всего лишь второстепенные..."

Всего любопытнее в вышеприведенном факте последние строки:

"Офицер окинул его с ног до головы несколько удивленным взглядом,

улыбнулся слегка, пожал плечами и беспрекословно помог одеть пальто.

Конечно, более ничего и не оставалось сделать".

Как так: "конечно"? Почему более ничего не оставалось сделать?

Напротив, именно можно было сделать совершенно другое, обратно

противуположное: можно было "окинуть его с ног до головы несколько

удивленным взглядом, улыбнуться слегка, пожать плечами" и - отойти мимо,

так-таки и не дотронувшись до пальто, - вот что можно было сделать. Неужели

нельзя было заметить, что просвещенный мореплаватель фокусничает, что

тончайший знаток этикета ловит минуту удовлетворения мелочной своей

гордости? То-то и есть, что нельзя было, может быть, спохватиться в тот

миг, а помешала именно наша просвещенная "деликатность" - не перед

англичанином этим деликатность, не перед членом этим парламента в каком-то

пробковом шлеме (какой такой пробковый шлем?), - а перед Европой

деликатность, перед долгом европейского просвещения "деликатность", в

которой мы взросли, погрязли до потери самостоятельной личности и из

которой долго нам не выкарабкаться.

Подвоз патронов в турецкую армию из Англии и Америки колоссальный;

достоверно теперь вполне, что турецкий солдат в Плевно тратит в день иной

раз по 500 патронов; ни средств, ни денег не могло быть у турок, чтобы так

вооружить армию. Присутствие англичан и их денег в теперешней войне

несомненно. Ихние пароходы доставляют оружие и всё необходимое. А у нас

иные газеты наши кричат из "деликатности": "Ах, не говорите этого, ах, не

подымайте вы только этого, пусть мы не видим, пусть мы не слышим, а то

просвещенные мореплаватели рассердятся и тогда...".

Да что же тогда? Чего вы трусите? Много бы можно еще прибавить на тему

о "деликатности".

Даже если есть какие-нибудь там вексельки и векселечки, выданные нами

Европе, в виде разных обещаний, еще перед тем как перешли мы Барбошский

мост, то несомненно и это должно было произойти из "деликатности" нашей, из

деликатности перед Европой и перед обаянием ее. Но о "деликатности" пока

оставим. Я лишь припомню, что в начале главы, начав о деликатности, я

прибавил: "Что ведь это всего только перед Европой, а у себя-то мы всегда

свое наверстаем". Мне хочется, именно, пользуясь случаем, указать, как

иногда мы у себя наверстать умеем, реванш возьмем...

II. САМЫЙ ЛАКЕЙСКИЙ СЛУЧАЙ, КАКОЙ ТОЛЬКО МОЖЕТ БЫТЬ

Помните ли, господа, как еще летом, еще задолго до "Плевны", мы вдруг

вошли в Болгарию, явились за Балканами и онемели от негодования. То есть не

все, это первым делом надо заявить, даже далеко не половина, а гораздо

меньше, - но всё же вознегодовавших было значительное число и раздались

голоса. Голоса корреспондентов из армии и потом тотчас же голоса в нашей

прессе, особенно в петербургской. Это были горячие голоса, убежденные,

полные самого добродетельного негодования...

Всё дело вышло из-за того, что обладатели голосов этих шли, как

известно всему миру и особенно нам, спасать угнетенных, униженных,

раздавленных и измученных. Еще до объявления войны я, помню, читал в самых

серьезнейших из наших газет, при расчете о шансах войны и необходимо

предстоящих издержек, что, конечно, "вступив в Болгарию, нам придется

кормить не только нашу армию, но и болгарское население, умирающее с

голоду". Я это сам читал и могу указать, где читал, и вот, после такого-то

понятия о болгарах, об этих угнетенных, измученных, за которых мы пришли с

берегов Финского залива и всех русских рек отдавать свою кровь, - вдруг мы

увидели прелестные болгарские домики, кругом них садики, цветы, плоды,

скот, обработанную землю, родящую чуть не сторицею, и, в довершение всего,

по три православных церкви на одну мечеть, - это за веру-то угнетенных! "Да

как они смеют!" - загорелось мгновенно в обиженных сердцах иных

освободителей, и кровь обиды залила их щеки. "И к тому же мы их спасать

пришли, стало быть, они бы должны почти на коленках встречать. Но они не

стоят на коленках, они косятся, даже как будто и не рады нам! Это нам-то!

Хлеб-соль выносят, это правда, но косятся, косятся!.."

И поднялись голоса. Послушайте, господа, как вы думаете: вдруг вы

получаете или фальшивую или ложно понятую вами телеграмму о том, что

близкий вам человек, друг или брат ваш, лежит больной, где-то там ограблен,

или под вагон попал, или что-нибудь в этом роде. Вы бросаете все дела ваши

и мчитесь к несчастному брату, - и вдруг ничего не бывало: вы встречаете

человека, который здоровее вас, сидит за столом и обедает, с криком зовет

вас за стол и хохочет о фальшивой вашей тревоге, о вышедшем qui pro quo. 6

Любите вы иль даже не очень любите этого человека, но неужели вы

рассердитесь на него за то, что его не ограбили и что он не попал под

вагон? Главное за то, что у него такие красные щеки и что он так исправно

ест обед и пьет вино? Ведь не правда ли, что нет? Напротив, ведь вы

порадоваться еще должны, что он жив и здоровее вашего.

Ну, конечно, по человечеству немножко и рассердитесь, - но ведь не за

то же, что ему не перерезало колесами ноги? Ведь не пойдете же вы сейчас

из-за стола писать об нем корреспонденции и анекдоты, чернить его характер,

подмечать невыгодные черты... Ну, а ведь про болгар это делали. "У нас,

дескать, и зажиточный мужик так не питается, как этот угнетенный болгарин".

А другие так вывели потом, что русские-то и причиной всех несчастий

болгарских: что не грозили бы мы прежде, не зная дела, за угнетенного

болгарина турке и не пришли бы потом освобождать этих "ограбленных"

богачей, так жил бы болгарин до сих пор как у Христа за пазухой. Это и

теперь еще утверждают.

Я только с той стороны говорю, что нашу "деликатность" перед Европой и

наш просвещенный европеизм мы-таки умеем иногда наверстать по-своему у себя

дома, где Европа не видит уже нас и не смотрит, да и по-русски не понимает.

А Болгария - это ведь дома. Мы их освобождать пришли, значит, всё равно что

к себе пришли, они наши. У него там сад и имение, так ведь это имение всё

равно что мое; я, конечно, не возьму у него ничего, потому что я

благородный человек, да, правда, и власти не имею, но всё же он должен

чувствовать и навеки быть благодарным, потому что раз я к нему вошел, -

всё, что у него есть, это всё равно, что я ему подарил. Отнял у его

угнетателя турка, а ему возвратил. Должен же он понимать это... А тут вдруг

его никто и не угнетает - какая обидная неприятность, не правда ли?

А какое лакейство вместо просвещенной-то деликатности, не правда ли? И

какой смешной случай! Это самое комическое из наверстаний своего "у себя

дома" за тяготу неловкого мундира европейской деликатности, в котором мы

щеголяем перед Европой. Самый лакейский случай случился с этими пылкими

господами и застал довольно многих из нас совсем врасплох. Это уже

посерьезнее, чем врасплох подать пальто англичанину.

Потом всё обнаружилось, и истина открылась многим из вознегодовавших,

хотя не всем, до сих пор не всем. Обнаружилось, во-первых, что болгарин

ничем не виноват в том, что он трудолюбив и что земля его родит во сто

крат. Во-вторых, в том, что и "косился", он не виноват. Взять уж одно то,

что он четыре столетия - раб и, встречая новых господ, не верит, что они

ему братья, а верит только, что они ему новые господа, да сверх того еще

боится прежних господ и тяжело про себя думает: "А ну как те опять вернутся

да узнают, что я хлеб-соль подносил?" Ну вот от этих-то внутренних вопросов

он и косился - и ведь прав был, вполне угадал, бедняжка: после того как мы,

совершив наш первый, молодецкий натиск за Балканы, вдруг отретировались, -

пришли ведь к ним опять турки и что только им от них было - теперь уже

достояние всемирной истории! Эти красивые домики, эти посевы, сады, скот -

всё это было разграблено, обращено в пепел и стерто с лица земли. Не

десятками и не сотнями, а тысячами и десятками тысяч истреблялись болгары

огнем и мечом, дети их разрывались на части и умирали в муках, обесчещенные

жены и дочери были или избиты после позора, или уведены в плен на продажу,

а мужья - вот те самые, которые встречали русских, да сверх того и те

самые, которые никогда не встречали русских, но к которым могли

когда-нибудь прийти русские, - все они поплатились за русских на виселицах

и на кострах. Их прибивали мучившие их скоты на ночь за уши гвоздями к

забору, а наутро вешали всех до единого, заставляя одного из них вешать

прочих, и он, повесив десятка два виновных, кончал тем, что сам обязан был

повеситься в заключение при общем смехе мучивших их, сладострастных к

мучениям скотов, называемых турецкою нацией и которыми столь восхищались

потом иные из деликатнейших барынь наших...

NB. (Кстати, еще недавно, уже в половине ноября, писали из Пиргоса о

новых зверствах этих извергов. Когда, во время горячей бывшей там стычки,

турки временно оттеснили наших так, что мы не успели захватить наших

раненых солдат и офицеров, и когда потом, в тот же день к вечеру, опять

наши воротились на прежнее место, то нашли своих раненых солдат и офицеров

обкраденными, голыми, с отрезанными носами, ушами, губами, с вырезанными

животами и, наконец, обгорелыми в сожженных турками скирдах соломы и хлеба,

куда они предварительно перенесли живых наших раненых. Репрессалии,

конечно, жестокая вещь, тем более, что в сущности ни к чему не ведут, как и

сказал уже я раз в одном из предыдущих выпусков "Дневника", но строгость с

начальством этих скотов была бы не лишнею. Можно бы прямо объявить, вслух и

даже на всю Европу (пруссаки наверно бы сделали так, потому что они даже с

французами так точно делали по причинам в десять раз меньше уважительным,

чем те, которые имеем мы против воюющих с нами скотов), - что если

усмотрятся совершённые зверства, то ближайшие начальники тех турок, которые

совершили зверства, в случае взятия их в плен, будут судимы на месте

военным судом и подвержены смертной казни расстрелянием. Это, может быть, и

имело бы некоторое влияние на офицеров и пашей турецких. (NB. Мне кажется,

всегда можно бы было узнать, сейчас или потом, кто из турецких начальников

командовал, например, атакой у Пиргоса.) Такой сюрприз, вместо рессорных

экипажей, может быть, вразумил бы многих из них. Теперь же этот самый

"начальник", попавшись в плен и видя, как его встречают после зверств его,

прямо воображает, что он безмерно выше "поганого русского". Европейской

деликатности нашей и страху нашему перед Европой, поверьте, этот турок

никогда не поверит, да и не поймет этого вовсе, да и не вообразит этой

причины вовсе. Деликатный страх перед Европой есть чисто русское дело и

изобретение и не может быть понят никогда и никем. А потому, "если ты так

кланяешься мне", рассуждает турецкий начальник, "после того как я, может

быть, брату твоему родному вчера еще нос отрезать позволил, то, значит, ты

сам чувствуешь себя передо мною низшим, а меня высшим перед собой

человеком. Но точно так и должно быть, по воле Аллаха, и нет тут ничего

удивительного!" Вот что должен думать про себя пленный турецкий паша, и

непременно так думает.)

Таким образом, когда вознегодовавшие на болгар за то, что они хорошо

живут, дожили до печальной с ними развязки, то поневоле поняли, что

болгарская жизнь в сущности всего только одна декорация, что все эти домики

и садики, и жены, и дети, и несовершеннолетние мальчики и девочки в этих

домах - всё это в сущности принадлежит турку и берется им, когда он

захочет. Он и берет, и в мирное время берет, и во время процветания берет,

берет и деньгами и скотами, и женами и девочками, и если сверх того всё

продолжало оставаться в цветущем виде, то это потому только, что турок не

хотел разрушать вконец такую плодородную ниву, имея в виду и впредь

почерпать с нее. Напротив, дозволял временем и местами полное процветание,

именно для того, чтоб в свое время почерпать и почерпать...

Теперь, конечно, турки рассвирепели и истребляют Болгарию вконец. Они

жалеют, что не истребили вовсе. Если мы возьмем Плевно и замедлим двинуться

далее, то турки, видя, что, может быть, придется проститься навеки с

Болгарией, истребят всё, что только можно в ней истребить, пока есть еще

время. Замечательны два мнения: у нас утверждают мудрые до сих пор, что без

вмешательства русских болгарин жил бы как у Христа за пазухой и что русские

- причина всех его несчастий. А вот известный своими прекрасными и

обстоятельными статьями с поля битвы, из нашего лагеря, англичанин Форбес,

корреспондент газеты "Daily News", кончил тем, что высказал наконец всю

свою английскую правду откровенно. Он искренно признает, что турки имели

"полное право" истребить все болгарское население к северу от Балкан, в то

время, когда русская армия перешла через Дунай. Форбес почти жалеет

(политически, конечно), что этого не случилось, и выводит, что болгаре

должны быть обязаны вечною благодарностью туркам за то, что те их тогда не

прирезали всех поголовно, как баранов. Вспомнив наше русское мнение о

"болгарине как у Христа за пазухой" и сопоставив его с мнением Форбеса,

можно прямо обратиться к болгарину с таким увещанием:

"Как же ты после того не у Христа за пазухой, если тебя поголовно

всего не прирезали?" Но странно тут и еще одно, и в глаза бросается, и в

истории останется: "Неужели, в самом деле, такое право турков может так

спокойно и безмятежно признавать столь образованный, как Форбес, член столь

просвещенной и великой нации, как Англия? Неужели это последние цветы и

плоды английской цивилизации?" Но, заметьте себе, он, конечно, бы так не

выразился, если б вместо болгар дело шло о французах или об итальянцах. Он

потому только выразился так, что это были всего только славяне-болгары.

Какое же после этого у них у всех в Европе родовое, кровяное презрение к

славянам и славянскому племени! Считаются всё равно что за собак!

Допускается возможность и разумность прирезать всех до единого, всё племя,

с женами и детьми. И заметьте еще (это очень важно), это не граф

Биконсфильд говорит: тот может выразить такие же разбойничьи и зверские

убеждения, принужденный к тому политикой, "английскими интересами", а ведь

Форбес - частный человек, не государственный, на которого соблюдение

интересов Англии во что бы ни стало и чего бы ни стоило не возложено, да

еще человек-то какой: честный, талантливый, правдивый, гуманный, по прежним

письмам своим. Тут именно, именно причиною какая-то западноевропейская

гадливость ко всему, что носит имя славянства. Этих болгар можно заваривать

кипятком, как гнезда клопов в старушечьих деревянных кроватях! Нет ли тут

именно какого-нибудь инстинкта, предчувствия, что все эти славянские

восточные племена, освободясь, займут когда-нибудь огромную роль в новом

грядущем человечестве, вместо сбившейся с правого пути старой цивилизации,

и станут на ее место? Сознательно западные люди, конечно, это не могут

теперь представить и допустить даже, точно так же как нельзя им представить

гнезда клопов - за что-то высшее и грядущее сменить их. Но тут Россия, тут,

очевидно, поднята идея совершенно новая, всем на соблазн, на гнев и

удивление, тут показалось уже знамя будущего, а так как Россия не "гнездо

клопов", как для них болгары, а гигант и сила, не признать которую

невозможно, и так как Россия тоже славянская нация, то как, должно быть,

эти западные люди ненавидят теперь и Россию в сердцах своих даже

инстинктивно, безотчетно, радуясь всякому ее неуспеху и всякой беде ее!

Именно тут инстинкт, тут предчувствие будущего...

III. ОДНО СОВСЕМ ОСОБОЕ СЛОВЦО О СЛАВЯНАХ, КОТОРОЕ МНЕ ДАВНО ХОТЕЛОСЬ

СКАЗАТЬ

Кстати, скажу одно особое словцо о славянах и о славянском вопросе. И

давно мне хотелось сказать его. Теперь же именно заговорили вдруг у нас все

о скорой возможности мира, то есть, стало быть, о скорой возможности хоть

сколько-нибудь разрешить и славянский вопрос. Дадим же волю нашей фантазии

и представим вдруг, что всё дело кончено, что настояниями и кровью России

славяне уже освобождены, мало того, что турецкой империи уже не существует

и что Балканский полуостров свободен и живет новою жизнью. Разумеется,

трудно предречь, в какой именно форме, до последних подробностей, явится

эта свобода славян хоть на первый раз, - то есть будет ли это какая-нибудь

федерация между освобожденными мелкими племенами (NB. Федерации, кажется,

еще очень, очень долго не будет) или явятся небольшие отдельные владения в

виде маленьких государств, с призванными из разных владетельных домов

государями? Нельзя также представить: расширится ли наконец в границах

своих Сербия или Австрия тому воспрепятствует, в каком объеме явится

Болгария, что станется с Герцеговиной, Боснией, в какие отношения станут с

новоосвобожденными славянскими народцами, например, румыны или греки даже,

- константинопольские греки и те, другие, афинские греки? Будут ли,

наконец, все эти земли и землицы вполне независимы или будут находиться под

покровительством и надзором "европейского концерта держав", в том числе и

России (я думаю, сами эти народики все непременно выпросят себе европейский

концерт, хоть вместе с Россией, но единственно в виде покровительства их от

властолюбия России) - всё это невозможно решить заранее в точности, и я не

берусь разрешать. Но, однако, возможно и теперь - наверно знать две вещи:

1) что скоро или опять не скоро, а все славянские племена Балканского

полуострова непременно в конце концов освободятся от ига турок и заживут

новою, свободною и, может быть, независимою жизнью, и 2) ... Вот это-то

второе, что наверно, вернейшим образом случится и сбудется, мне и хотелось

давно высказать.

Именно, это второе состоит в том, что, по внутреннему убеждению моему,

самому полному и непреодолимому, - не будет у России, и никогда еще не

было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов,

как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа

согласится признать их освобожденными! И пусть не возражают мне, не

оспаривают, не кричат на меня, что я преувеличиваю и что я ненавистник

славян! Я, напротив, очень люблю славян, но я и защищаться не буду, потому

что знаю, что всё точно так именно сбудется, как я говорю, и не по низкому,

неблагодарному, будто бы, характеру славян, совсем нет, - у них характер в

этом смысле как у всех, - а именно потому, что такие вещи на свете иначе и

происходить не могут. Распространяться не буду, но знаю, что нам отнюдь не

надо требовать с славян благодарности, к этому нам надо приготовиться

вперед. Начнут же они, по освобождении, свою новую жизнь, повторяю, именно

с того, что выпросят себе у Европы, у Англии и Германии, например,

ручательство и покровительство их свободе, и хоть в концерте европейских

держав будет и Россия, но они именно в защиту от России это и сделают.

Начнут они непременно с того, что внутри себя, если не прямо вслух, объявят

себе и убедят себя в том, что России они не обязаны ни малейшею

благодарностью, напротив, что от властолюбия России они едва спаслись при

заключении мира вмешательством европейского концерта, а не вмешайся Европа,

так Россия, отняв их у турок, проглотила бы их тотчас же, "имея в виду

расширение границ и основание великой Всеславянской империи на порабощении

славян жадному, хитрому и варварскому великорусскому племени". Долго, о,

долго еще они не в состоянии будут признать бескорыстия России и великого,

святого, неслыханного в мире поднятия ею знамени величайшей идеи, из тех

идей, которыми жив человек и без которых человечество, если эти идеи

перестанут жить в нем, - коченеет, калечится и умирает в язвах и в

бессилии. Нынешнюю, например, всенародную русскую войну, всего русского

народа, с царем во главе, подъятую против извергов за освобождение

несчастных народностей, - эту войну поняли ли наконец славяне теперь, как

вы думаете? Но о теперешнем моменте я говорить не стану, к тому же мы еще

нужны славянам, мы их освобождаем, но потом, когда освободим и они кое-как

устроятся, - признают они эту войну за великий подвиг, предпринятый для

освобождения их, решите-ка это? Да ни за что на свете не признают!

Напротив, выставят как политическую, а потом и научную истину, что не будь

во все эти сто лет освободительницы-России, так они бы давным-давно сами

сумели освободиться от турок, своею доблестью или помощию Европы, которая,

опять-таки не будь на свете России, не только бы не имела ничего против их

освобождения, но и сама освободила бы их. Это хитрое учение наверно

существует у них уже и теперь, а впоследствии оно неминуемо разовьется у

них в научную и политическую аксиому. Мало того, даже о турках станут

говорить с большим уважением, чем об России. Может быть, целое столетие,

или еще более, они будут беспрерывно трепетать за свою свободу и бояться

властолюбия России; они будут заискивать перед европейскими государствами,

будут клеветать на Россию, сплетничать на нее и интриговать против нее. О,

я не говорю про отдельные лица: будут такие, которые поймут, что значила,

значит и будет значить Россия для них всегда. Они поймут всё величие и всю

святость дела России и великой идеи, знамя которой поставит она в

человечестве. Но люди эти, особенно вначале, явятся в таком жалком

меньшинстве, что будут подвергаться насмешкам, ненависти и даже

политическому гонению. Особенно приятно будет для освобожденных славян

высказывать и трубить на весь свет, что они племена образованные, способные

к самой высшей европейской культуре, тогда как Россия - страна варварская,

мрачный северный колосс, даже не чистой славянской крови, гонитель и

ненавистник европейской цивилизации. У них, конечно, явятся, с самого

начала, конституционное управление, парламенты, ответственные министры,

ораторы, речи. Их будет это чрезвычайно утешать и восхищать. Они будут в

упоении, читая о себе в парижских и в лондонских газетах телеграммы,

извещающие весь мир, что после долгой парламентской бури пало наконец

министерство в Болгарии и составилось новое из либерального большинства и

что какой-нибудь ихний Иван Чифтлик согласился наконец принять портфель

президента совета министров. России надо серьезно приготовиться к тому, что

все эти освобожденные славяне с упоением ринутся в Европу, до потери

личности своей заразятся европейскими формами, политическими и социальными,

и таким образом должны будут пережить целый и длинный период европеизма

прежде, чем постигнуть хоть что-нибудь в своем славянском значении и в

своем особом славянском призвании в среде человечества. Между собой эти

землицы будут вечно ссориться, вечно друг другу завидовать и друг против

друга интриговать. Разумеется, в минуту какой-нибудь серьезной беды они все

непременно обратятся к России за помощью. Как ни будут они ненавистничать,

сплетничать и клеветать на нас Европе, заигрывая с нею и уверяя ее в любви,

но чувствовать-то они всегда будут инстинктивно (конечно, в минуту беды, а

не раньше), что Европа естественный враг их единству, была им и всегда

останется, а что если они существуют на свете, то, конечно, потому, что

стоит огромный магнит - Россия, которая, неодолимо притягивая их всех к

себе, тем сдерживает их целость и единство. Будут даже и такие минуты,

когда они будут в состоянии почти уже сознательно согласиться, что не будь

России, великого восточного центра и великой влекущей силы, то единство их

мигом бы развалилось, рассеялось в клочки и даже так, что самая

национальность их исчезла бы в европейском океане, как исчезают несколько

отдельных капель воды в море. России надолго достанется тоска и забота

мирить их, вразумлять их и даже, может быть, обнажать за них меч при

случае. Разумеется, сейчас же представляется вопрос: в чем же тут выгода

России, из-за чего Россия билась за них сто лет, жертвовала кровью своею,

силами, деньгами? Неужто из-за того, чтоб пожать столько маленькой, смешной

ненависти и неблагодарности? О, конечно, Россия всё же всегда будет

сознавать, что центр славянского единства - это она, что если живут славяне

свободною национальною жизнию, то потому, что этого захотела и хочет она,

что совершила и создала всё она. Но какую же выгоду доставит России это

сознание, кроме трудов, досад и вечной заботы?

Ответ теперь труден и не может быть ясен.

Во-первых, у России, как нам всем известно, и мысли не будет, и быть

не должно никогда, чтобы расширить насчет славян свою территорию,

присоединить их к себе политически, наделать из их земель губерний и проч.

Все славяне подозревают Россию в этом стремлении даже теперь, равно как и

вся Европа, и будут подозревать еще сто лет вперед. Но да сохранит бог

Россию от этих стремлений, и чем более она выкажет самого полного

политического бескорыстия относительно славян, тем вернее достигнет

объединения их около себя впоследствии, в веках, сто лет спустя. Доставив,

напротив, славянам, с самого начала, как можно более политической свободы и

устранив себя даже от всякого опекунства и надзора над ними и объявив им

только, что она всегда обнажит меч на тех, которые посягнут на их свободу и

национальность, Россия тем самым избавит себя от страшных забот и хлопот

поддерживать силою это опекунство и политическое влияние свое на славян,

им, конечно, ненавистное, а Европе всегда подозрительное. Но выказав

полнейшее бескорыстие, тем самым Россия и победит, и привлечет, наконец, к

себе славян; сначала в беде будут прибегать к ней, а потом, когда-нибудь,

воротятся к ней и прильнут к ней все, уже с полной, с детской

доверенностью. Все воротятся в родное гнездо. О, конечно, есть разные

ученые и поэтические даже воззрения и теперь в среде многих русских. Эти

русские ждут, что новые, освобожденные и воскресшие в новую жизнь

славянские народности с того и начнут, что прильнут к России, как к родной

матери и освободительнице, и что несомненно и в самом скором времени

привнесут много новых и еще не слыханных элементов в русскую жизнь,

расширят славянство России, душу России, повлияют даже на русский язык,

литературу, творчество, обогатят Россию духовно и укажут ей новые

горизонты. Признаюсь, мне всегда казалось это у нас лишь учеными

увлечениями; правда же в том, что, конечно, что-нибудь произойдет в этом

роде несомненно, но не ранее ста, например, лет, а пока, и, может быть, еще

целый век, России вовсе нечего будет брать у славян ни из идей их, ни из

литературы, и чтоб учить нас, все они страшно не доросли. Напротив, весь

этот век, может быть, придется России бороться с ограниченностью и

упорством славян, с их дурными привычками, с их несомненной и близкой

изменой славянству ради европейских форм политического и социального

устройства, на которые они жадно накинутся. После разрешения Славянского

вопроса России, очевидно, предстоит окончательное разрешение Восточного

вопроса. Долго еще не поймут теперешние славяне, что такое Восточный

вопрос! Да и славянского единения в братстве и согласии они не поймут тоже

очень долго. Объяснять им это беспрерывно, делом и великим примером будет

всегдашней задачей России впредь. Опять-таки скажут: для чего это всё,

наконец, и зачем брать России на себя такую заботу? Для чего: для того,

чтоб жить высшею жизнью, великою жизнью, светить миру великой, бескорыстной

и чистой идеей, воплотить и создать в конце концов великий и мощный

организм братского союза племен, создать этот организм не политическим

насилием, не мечом, а убеждением, примером, любовью, бескорыстием, светом;

вознести наконец всех малых сих до себя и до понятия ими материнского ее

призвания - вот цель России, вот и выгоды ее, если хотите. Если нации не

будут жить высшими, бескорыстными идеями и высшими целями служения

человечеству, а только будут служить одним своим "интересам", то погибнут

эти нации несомненно, окоченеют, обессилеют и умрут. А выше целей нет, как

те, которые поставит перед собой Россия, служа славянам бескорыстно и не

требуя от них благодарности, служа их нравственному (а не политическому

лишь) воссоединению в великое целое. Тогда только скажет всеславянство свое

новое целительное слово человечеству... Выше таких целей не бывает никаких

на свете. Стало быть, и "выгоднее" ничего не может быть для России, как

иметь всегда перед собой эти цели, всё более и более уяснять их себе самой

и всё более и более возвышаться духом в этой вечной, неустанной и

доблестной работе своей для человечества.

Будь окончание нынешней войны благополучно - и Россия несомненно

войдет в новый и высший фазис своего бытия...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I. ТОЛКИ О МИРЕ. "КОНСТАНТИНОПОЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАШ" - ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО?

РАЗНЫЕ МНЕНИЯ

А про окончание войны все вдруг начали толковать, не только в Европе,

но и у нас. Все пустились дебатировать вероятные условия мира. Приятно то,

что даже большинство наших политических газет, более или менее, но верно

ценит теперь труды, кровь и усилия России, и условия мира предполагает по

возможности в размерах этих усилий. Утешительно особенно то, что

большинство судящих начинает признавать и самостоятельность России ввиду

грядущих несомненных европейских вмешательств при заключении мира, и право

ее заключить мир сепаратный, личный, не призывая Европы и даже не очень

внимая ей, если будет возможно. Участь славян берется тоже в расчет.

Толкуют о вознаграждениях, с большим жаром требуют железных турецких

мониторов. На присоединение Карса, Эрзерума и на право наше присоединить их

к себе многие изъявили полное согласие.

Есть люди, которые, впрочем, до сих пор обижаются даже предположением,

что мы что-нибудь смеем присоединить вроде Карса. Зато есть, наконец, и

такие, которые толкуют даже о Константинополе, не то что о Карсе, и о том,

что Константинополь должен быть наш. Эти толки и рассуждения о мире и об

условиях мира будут теперь повторяться неустанно, после каждого крупного

нашего военного действия. Мне хочется только заметить, что во всех этих

теперешних суждениях наших органов (или почти) кроется как будто какой-то

не то что промах, а недосмотр. Именно, все считают Европу... Европой, то

есть такой же Европой, какой была она с разными варьяциями во всё столетие,

- то есть те же почти великие державы принимаются, то же политическое

равновесие имеется в виду и проч. Между тем как Европа с часу на час не та

становится теперь, что была даже назад тому полгода, и даже до того, что за

три месяца вперед ручаться теперь невозможно, - до того может измениться

даже к будущей весне прежний лик ее. Колоссальные роковые текущие факты,

которые должны формулироваться и потребовать разрешения, очень может быть

скоро, берутся в расчет как бы всё еще не в тех размерах, в которых они

существенно должны предстать перед миром. Даже состав той Европы, которая

может вмешаться в наши дела при заключении мира, трудно определить теперь

безошибочно. А потому и толковать об условиях мира лишь на прежних данных,

недостаточно оценяя того, что все эти прежние данные - двинулись сами с

места, текут, улетучиваются, ждут сами новых определении, - мне кажется,

будет тоже ошибочно... А впрочем, об этом потом. Теперь же, так как уже

зашла речь о Константинополе, мне хочется мимоходом отметить одно очень

странное и почти неожиданное для меня мнение о ближайших "судьбах"

Константинополя, выраженное человеком, от которого можно было ожидать

совсем другого решения ввиду теперешних совершившихся и несомненно имеющих

совершиться событий. Николай Яковлевич Данилевский, написавший восемь лет

тому назад превосходную книгу "Россия и Европа", в которой есть лишь одна

неясная и нетвердая глава, именно о будущей судьбе Константинополя,

напечатал недавно в газете "Русский мир" ряд статей о том же самом

предмете. Окончательный вывод его о Константинополе очень оригинален.

Я, впрочем, не буду разбирать во всей подробности.

После превосходных и верных рассуждений, например, о том, что

Константинополь, по изгнании турок, отнюдь не может стать вольным городом,

вроде, как, например, прежде Краков, не рискуя сделаться гнездом всякой

гадости, интриги, убежищем всех заговорщиков всего мира, добычей жидов,

спекулянтов и проч. и проч., - Н. Я. Данилевский решает, что

Константинополь должен, когда-нибудь, стать общим городом всех восточных

народностей. Все народы будут-де владеть им на равных основаниях, вместе с

русскими, которые тоже будут допущены ко владению им на основаниях, равных

с славянами. Такое решение, по-моему, удивительно. Какое тут может быть

сравнение между русскими и славянами? И кто это будет устанавливать между

ними равенство? Как может Россия участвовать во владении Константинополем

на равных основаниях с славянами, если Россия им неравна во всех отношениях

- и каждому народцу порознь и всем им вместе взятым? Великан Гулливер мог

бы, если б захотел, уверять лилипутов, что он им во всех отношениях равен,

но ведь это было бы очевидно нелепо. Зачем же напускать на себя нелепость

до того, чтоб верить ей самому и насильно? Константинополь должен быть наш,

завоеван нами, русскими, у турок и остаться нашим навеки. Одним нам он

должен принадлежать, а мы, конечно, владея им, можем допустить в него и

всех славян и кого захотим, еще сверх того, на самых широких основаниях, но

это уже будет не федеративное владение вместе со славянами городом. Да

взять уже то, что вы федеративного соединения славян между собою еще целый

век не добьетесь. Россия будет владеть лишь Константинополем и его

необходимым округом, равно Босфором и проливами, будет содержать в нем

войско, укрепления и флот, и так должно быть еще долго, долго. О, подхватят

и закричат многие: "Стало быть, служение-то России славянскому делу, видно,

было не столь бескорыстное!" На это легко отвечать, именно тем, что

служение России славянам теперь еще не окончится, а будет еще продолжаться

в веках, что ею только, и великой центральной силой ее, славяне и будут на

свете жить; что за такое служение никогда и ничем нельзя будет заплатить, а

что если и займет теперь Россия Константинополь, то единственно потому, что

у ней, в задачах ее и в назначении ее, есть кроме славянского и другой

вопрос, самый великий для нее и окончательный, а именно Восточный вопрос, и

что разрешиться этот вопрос может только в Константинополе. Федеративное же

владение Константинополем разными народцами может даже умертвить Восточный

вопрос, разрешения которого, напротив того, настоятельно надо желать, когда

придут к тому сроки, так как он тесно связан с судьбою и с назначением

самой России и разрешен может быть только ею. Не говорю уже о том, что все

эти народцы лишь перессорятся между собою в Константинополе, за влияние в

нем и за обладание им. Ссорить их будут греки. Завидовать тому, что они

владеют такой великолепной точкой Европы и земного шара, будут и западные

славяне... одним словом, Константинополь послужит тогда камнем раздора во

всем славянском и восточном мире, что помешает единению славян и остановит

ход правильной жизни их. Спасение в таком случае именно в том, если Россия

займет Константинополь одна, для себя, за свой счет. Россия может сказать

тогда восточным народам, что она потому берет себе Константинополь - "что

ни единый из вас, ни все вы вместе не доросли до него, а что она, Россия,

доросла". И доросла. Именно теперь наступает этот новый фазис жизни России.

Константинополь есть центр восточного мира, а духовный центр восточного

мира и глава его есть Россия. России именно нужно и даже полезно теперь, на

некоторое время, забыть хоть немножко Петербург и побывать на Востоке,

ввиду изменения судеб ее и всей Европы, изменения близкого, стоящего "при

дверях". Впрочем, оставим до времени разбор всех неудобств общего владения

Константинополем, и даже вреда от того, особенно для славян, - заметим

только, хоть несколько слов, о судьбе в таком случае константинопольских

греков и православия.

Греки ревниво будут смотреть на новое славянское начало в

Константинополе и будут ненавидеть и бояться славян даже более, чем бывших

магометан. Еще недавний спор болгар с патриаршим престолом может послужить

в таком случае примером будущего. Предстоятели православия в

Константинополе могут унизиться до интриги, мелких проклятий, отлучений,

неправильных соборов и проч., а может быть, упадут и до ереси - и всё это

из-за национальных причин, из-за национальных оскорблений и раздражений.

"Почему славяне выше нас, могут сказать все греки вместе, почему признается

их безусловное право на Константинополь, хотя бы и вместе с нами?" Теперь в

то же время заметьте, что Россия, владея Константинополем, имея силу и

огромный очевидный авторитет, почти устранит возможность таких вопросов.

Даже греки не могли бы ей столь завидовать и досадовать на нее за владение

Константинополем, именно потому, что она столь очевидная сила и столь явная

владычица судеб Востока. Россия, владея Константинополем, будет стоять

именно как бы на страже свободы всех славян и всех восточных народностей,

не различая их с славянами. Мусульманское владение было во все эти столетия

для всех этих народностей не единительной, но подавляющей силой, и они при

нем шевельнуться не смели, то есть вовсе не жили как люди. С уничтожением

же мусульманского владычества может наступить в этих народностях,

выпрыгнувших вдруг из гнета на свободу, страшный хаос. Так что не только

правильная федерация между ними, но даже просто согласие - есть, без

сомнения, лишь мечта будущего. А пока новой единительной для них силой и

будет Россия, именно тем отчасти, что твердо станет в Константинополе. Она

спасет их друг от друга и именно будет стоять на страже их свободы. Она

будет стоять на страже всего Востока и грядущего порядка его. И наконец,

она же и лишь она одна способна поднять на Востоке знамя новой идеи и

объяснить всему восточному миру его новое назначение. Ибо что такое

Восточный вопрос? Восточный вопрос есть в сущности своей разрешение судеб

православия. Судьбы православия слиты с назначением России. Что же это за

судьбы православия? Римское католичество, продавшее давно уже Христа за

земное владение, заставившее отвернуться от себя человечество и бывшее

таким образом главнейшей причиной матерьялизма и атеизма Европы, это

католичество естественно породило в Европе и социализм. Ибо социализм имеет

задачей разрешение судеб человечества уже не по Христу, а вне бога и вне

Христа, и должен был зародиться в Европе естественно, взамен упадшего

христианского в ней начала, по мере извращения и утраты его в самой церкви

католической. Утраченный образ Христа сохранился во всем свете чистоты

своей в православии. С Востока и пронесется новое слово миру навстречу

грядущему социализму, которое, может, вновь спасет европейское

человечество. Вот назначение Востока, вот в чем для России заключается

Восточный вопрос. Я знаю, очень многие назовут такое суждение

"кликушеством", но Н. Я. Данилевский слишком может понять то, что я говорю.

Но для такого назначения России нужен Константинополь, так как он центр

восточного мира. Россия уже сознает про себя, с народом и царем своим во

главе, что она лишь носительница идеи Христовой, что слово православия

переходит в ней в великое дело, что уже началось это дело с теперешней

войной, а впереди перед ней еще века трудов, самопожертвования, насаждения

братства народов и горячего материнского служения ее им, как дорогим детям.

Да, это великое христианское дело, эта новая деятельность христианства

и православия уже начались, именно в теперешнюю войну и фактом теперешней

войны, а Н. Я. Данилевский всё еще не верит тому... не верит, очевидно,

потому, что не считает пока никого еще достойным овладеть Константинополем,

и даже Россию. Не доросли, что ли, до Константинополя русские - трудно

понять. Конечно, трудно устроить согласное и равное на правах владение

Константинополем всех восточных народов и народцев, но ведь допускает же

автор статьи, что Россия могла бы владеть Константинополем одна, пока,

временно, так сказать, более охраняя его, чем смея владеть им, с тем,

однако, чтоб после передать его на общее владение народцам (для чего? для

чего передать?). Кажется, Н. Я. Данилевский считает, что для самой России

будет искусительно и, так сказать, развратительно единоличное владение

Константинополем, возбудит в ней дурные завоевательные инстинкты и проч.,

но, кажется, пора бы наконец уверовать в Россию, особенно после подвига

теперешней войны. Она доросла-с; даже до Константинополя доросла...

И вдруг автор даже и пока не решается доверить России Константинополь.

И, представьте, чем кончает: он выводит, что пока надо продлить

существование Турции (отняв у ней всех славян, Балканы и проч.) и оставить

пока Константинополь под властью турок и что это даже будто бы самое

выгодное для России теперь решение и в этом почти перст божий. Но почему

же, перст-то божий почему? Разумеется, автор предполагает при этом новом

существовании Турции полнейшее влияние на нее России и, так сказать,

зависимость Турции от России. Но для чего такой маскарад? Рассудите:

владыка Россия, а все-таки на время надо турку поставить. Заметим, что на

такую комбинацию Европа еще скорее не согласится, чем на окончательное

завоевание Турции, ибо лучше уже совершившийся факт, чем всё еще

оспариваемый, продолжаемый, угрожающий новыми войнами в самом близком

будущем. Таким образом, автор почти сошелся, в конце концов, с политическим

мнением лорда Биконсфильда, то есть что существование Турции необходимо и

уничтожена она быть не может.

"От Турции останется одна тень, - говорит Н. Я. Данилевский, - но тень

эта должна (?) еще до поры до времени отенять берега Босфора и Дарданелл,

ибо заменить ее живым, и не только живым, но еще здоровым организмом, пока

невозможно (!?)..."

Это Россия-то не здоровый и даже не живой еще организм, которым нельзя

даже сметь заменить в столице православия гнилье турок? Это для меня

удивительно (опять-таки после подвига теперешней войны!). Чего-нибудь я тут

верно не понимаю. Не разумеет ли автор, просто-напросто, что потому

невозможно еще пустить Россию в Константинополь (для единоличного владения

или для передачи его потом народам), что Европа не согласится ее впустить.

Может быть, автор не верит, что Россия в нынешнюю войну в силах достигнуть

такого окончательного результата. Он именно говорит в одном месте своей

статьи, "что занятие Константинополя русскими встретит самое решительное

сопротивление со стороны большинства европейских держав". Если так, то

заключение его о необходимости оставить на время турок в Константинополе

становится понятнее; тем не менее насчет "сопротивления большинства

европейских держав" можно заметить две вещи: 1) что, как сказал я выше,

Европа, может быть, скорее найдет примирительный исход в занятии нашем

Константинополя, чем в той формуле, которую предлагает г-н Данилевский, то

есть Турцию обезличенную, под полной опекой России, без Балкан, без славян,

с срытыми крепостями, без флота, одним словом, "тень" прежней Турции, как

выражается автор. Уж конечно, не этой Турции желало бы "большинство

европейских держав", и, оставив на свете лишь "тень Турции", ее тем не

надуешь: "Всё равно, не сегодня, так завтра войдете в Константинополь", -

скажет она русским. А потому окончательное решение для нее будет решительно

предпочтительнее, чем Турция в виде тени. Второе, что можно заметить, это

то, что, может быть, действительно никогда еще не было (и не будет) такого

выгодного для нас момента для занятия Константинополя, как теперь, именно в

эту войну, именно в данный или весьма близкий к тому момент, ввиду

политического положения самой Европы в этот момент.

II. ОПЯТЬ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ "ПРОРИЦАНИЯ"

Вы всё говорите: "большинство европейских держав" не позволит. Но что

такое теперь "большинство европейских держав"? Определимо ли оно даже в

настоящую минуту? Повторяю сказанное выше: Европа с часу на час становится

не такой, как была прежде, еще недавно, как была, может быть, всего назад

еще полгода, так что теперь даже за три месяца вперед ручаться и за

дальнейшую неизменяемость ее нельзя. Дело в том, что мы именно накануне

самых величайших и потрясающих событий и переворотов в самой Европе, и это

без всякого преувеличения. В данный же момент, теперь, в ноябре, это

"большинство европейских держав", которые могли бы нам сказать в чем-нибудь

свое грозное vetо при заключении мира, - сводится лишь на Англию, - и -

вряд ли еще на Австрию, хотя Англия во что бы ни стало вовлекает ее в союз

и даже надеется на союз и с Францией. Но мы будем (теперь уже это очевидно)

не одни. В Европе есть Германия, и та на нашей стороне.

Да, Европу ждут огромные перевороты, такие, что ум людей отказывается

верить в них, считая осуществление их как бы чем-то фантастическим. Между

тем многое, что еще нынешним летом считалось фантастическим, невозможным и

преувеличенным, - сбылось в Европе к концу года буквально, и мнение,

например, о силе католического всемирного заговора - мнение, над которым

все еще летом склонны были смеяться и, по крайней мере, пренебрегать им,

разделяется теперь всеми и подтвердилось фактами. Напоминаю об этом

единственно для того, чтоб читатели поверили и теперешним "предсказаньям"

нашим и не сочли бы их фантастическою и преувеличенною картиною, как,

вероятно, сочли многие наши летние предсказания в мае, июне, июле и

августе, и которые, однако, сбылись до буквальной точности.

Единственный политик в Европе, проникающий гениальным взглядом своим в

самую глубь фактов, - есть, бесспорно, князь Бисмарк. Самого страшного

врага Германии, ее единства и ее обновленного будущего он прозрел, еще

задолго назад - в римском католицизме и в порожденном католицизмом чудовище

- социализме. (Социализмом проедена Германия.) Раздавить католицизм в

момент избрания нового папы Бисмарку необходимо. О, он понимает, что он не

раздавит его окончательно и что он только поставит его в известный новый

фазис борьбы. Но старый фазис борьбы, для католицизма, еще продолжается,

пока жива Франция. Пока жива Франция, у католицизма есть сильный меч и есть

надежды на европейскую коалицию. Что до Франции, то эта страна в глазах кн.

Бисмарка - обречена уже судьбе своей. Для него один вопрос: или ей жить,

или Германии. Ибо падет Франция - и католицизм, вместе с социализмом,

войдут в новый фазис. И пока европейские политики, следуя за нескончаемой

борьбой Мак-Магона с республиканцами, желают от всего сердца победы

республиканцам, принимая и веря еще, что республика есть во Франции

правительство народное и способное соединить Францию, - князь Бисмарк, тем

временем, понимает вполне, что Франция отжила свой век, что эта нация

разделилась внутренне и окончательно сама на себя навеки и что в ней

никогда уже более не будет твердого и единящего всех авторитетного

правления, здорового национального и единящего центра. И хоть слабость

Франции могла бы, таким образом, лишь обнадеживать Германию, но князь

Бисмарк всё же видит, что, повторю это, пока живет Франция, дотоле жив и

римский католицизм политически и имеет в руках своих обнаженный меч, мало

того, - что католицизм-то, может быть, и мог бы еще раз, на время,

послужить для этой разложившейся страны - единящей идеей, хотя бы

внешнеполитически. Ибо даже и быть не может, чтоб Франция, хотя бы и с

республиканцами во главе, могла не обнажить, рано ли, поздно ли, меча за

папу и за судьбы католичества. Республиканцы даже сами увидели бы, что

оставь они папу и католичество, то и собственное их существование во

Франции стало бы невозможным. Правда, сами-то они, может, будут и

неспособны понять это даже до самого конца своего и, таким образом,

пребудут до конца не только фаворитами (протеже) князя Бисмарка, которых

он, однако же, всё равно приговорил уже про себя к смерти, вместе с прочими

французскими партиями, имеющими претензию на способность вновь соединить

Францию в одно неразрывное целое, - но и рабами Германии, отдающими ей и

всю Францию не только в политическое, но и во внутреннее, существенное и

духовное рабство, именно тем, что лишают Францию самой самостоятельнейшей

из политических и исторических идей ее, вырывают у ней то знамя, которое

она высоко держала столько веков как представительница романского элемента

в европейском человечестве. Но зато те, которые сгонят за это бездарных и

бесполезных республиканцев с места, непременно позаботятся воздвигнуть

(Бисмарк знает это), в последний раз, католическое знамя против Германии -

знамя, в которое уже, повторяю это, не верит Франция, уже сама почти вся

отрицает его, но которое может еще послужить ей политически последней

точкой упоры и единения против рокового (и последнего тоже) натиска

протестантской Германии, вечно протестовавшей против западноевропейских,

унаследованных еще от древнего Рима начал целой половины европейского

человечества.

А потому князь Бисмарк, вероятнее всего, уже предрешил судьбу Франции.

Францию ждет судьба Польши, и политически жить она не будет - или не будет

и Германии. Достигнув этого, он принудит тогда воюющее римское католичество

(которое будет воевать до окончания мира) войти в новый фазис существования

и борьбы за существование - в фазис подземной, рептильной, заговорной

войны. И он ждет его в этом новом фазисе. Чем скорее это совершится, тем

для него лучше, так как тут он ждет уже соединения обоих врагов Германии и

человечества вместе и тем самым раздавить их надеется легче, зараз...

III. НАДО ЛОВИТЬ МИНУТУ

Соединение же обоих врагов произойдет несомненно, только лишь падет

политически Франция. Оба врага эти имели с Францией всегда органическую

связь. Католичество, почти до последнего времени, было единящей и

существенной идеей ее. Социализм же и зародился в ней. Лишив Францию

политической жизни, князь Бисмарк думает нанести удар и социализму.

Социализм, как наследие католицизма и Франции, ненавистен более всех

истинному германцу, и простительно, что представители Германии думают с ним

так легко справиться, уничтожив лишь политически Францию как источник и

начало его. Но вот что произойдет, по всей вероятности, если падет

политически Франция: католичество потеряет свой меч и в первый раз

обратится к народу, которого оно презирало столько веков, заискивая у

королей и императоров земных. Но теперь оно обратится к народу, ибо некуда

идти ему больше, обратится именно к предводителям наиболее подвижного и

подымчивого элемента в народе, социалистам. Народу оно скажет, что всё, что

проповедуют им социалисты, проповедовал и Христос. Оно исказит и продаст им

Христа еще раз, как продавало прежде столько раз за земное владение,

отстаивая права инквизиции, мучившей людей за свободу совести во имя

любящего Христа, - Христа, дорожащего лишь свободно пришедшим учеником, а

не купленным или напуганным. Оно продавало Христа, благословляя иезуитов и

одобряя праведность "всякого средства для Христова дела". Всё Христово же

дело оно искони обратило лишь в заботу о земном владении своем и о будущем

государственном обладании всем миром. Когда католическое человечество

отвернулось от того чудовищного образа, в котором им представили наконец

Христа, то после целого ряда веков протестов, реформации и проч. явились

наконец, с начала нынешнего столетия, попытки устроиться вне бога и вне

Христа. Не имея инстинкта пчелы или муравья, безошибочно и точно созидающих

улей и муравейник, люди захотели создать нечто вроде человеческого

безошибочного муравейника. Они отвергли происшедшую от бога и откровением

возвещенную человеку единственную формулу спасения его: "Возлюби ближнего

как самого себя" - и заменили ее практическими выводами вроде: "Chacun pour

soi et Dieu pour tous" 7 - или научными аксиомами вроде "борьбы за

существование". Не имея инстинкта животных, по которому те живут и

устраивают жизнь свою безошибочно, люди гордо вознадеялись на науку, забыв,

что для такого дела, как создать общество, наука еще всё равно что в

пеленках. Явились мечтания. Будущая Вавилонская башня стала идеалом и, с

другой стороны, страхом всего человечества. Но за мечтателями явились

вскоре уже другие учения, простые и понятные всем, вроде: "Ограбить

богатых, залить мир кровью, а там как-нибудь само собою всё вновь

устроится". Наконец, пошли дальше и этих учителей, явилось учение анархии,

за которою, если б она могла осуществиться, наверно бы начался вновь период

антропофагии, и люди принуждены были бы начинать опять всё сначала, как

тысяч за десять лет назад. Католичество понимает всё это отлично и сумеет

соблазнить предводителей подземной войны. Оно скажет им: "У вас нет центра,

порядка в ведении дела, вы раздробленная по всему миру сила, а теперь, с

падением Франции, и придавленная. Я буду единением вашим и привлеку к вам и

всех тех, кто в меня еще верует". Так или этак, а соединение произойдет.

Католичество умирать не хочет, социальная же революция и новый, социальный

период в Европе тоже несомненен: две силы, несомненно, должны согласиться,

два течения слиться. Разумеется, католичеству даже выгодна будет резня,

кровь, грабеж и хотя бы даже антропофагия. Тут-то оно и может надеяться

поймать на крючок, в мутной воде, еще раз свою рыбу, предчувствуя момент,

когда наконец измученное хаосом и бесправицей человечество бросится к нему

в объятия, и оно очутится вновь, но уже всецело и наяву, нераздельно ни с

кем и единолично, "земным владыкою и авторитетом мира сего" и тем

окончательно уже достигнет цели своей. Картина эта, увы - не фантазия. Я

положительно удостоверяю, что ее уже прозирают очень и очень многие на

Западе. И, вероятно, прозирают и владыки Германии. Но предводители

германского народа в одном ошибаются: в легкости победить и подавить этих

двух страшных и уже соединенных врагов. Они надеются на силу обновленной

Германии, протестантского и протестующего ее духа против древнего и нового

Рима, начал и последствий его. Но не они остановят чудовище: остановит и

победит его воссоединенный Восток и новое слово, которое скажет он

человечеству...

Во всяком случае одно кажется ясным, именно: мы нужны Германии даже

более, чем думаем. И нужны мы ей не для минутного политического союза, а

навечно. Идея воссоединенной Германии широка, величава и смотрит в глубь

веков. Что Германии делить с нами? объект ее - всё западное человечество.

Она себе предназначила западный мир Европы, провести в него свои начала

вместо римских и романских начал и впредь стать предводительницею его, а

России она оставляет Восток. Два великие народа, таким образом,

предназначены изменить лик мира сего. Это не затеи ума или честолюбия: так

сам мир слагается. Есть новые и странные факты и появляются каждый день.

Когда у нас, еще на днях почти, говорить и мечтать о Константинополе

считалось даже чем-то фантастическим, в германских газетах заговорили

многие о занятии нами Константинополя как о деле самом обыкновенном. Это

почти странно сравнительно с прежними отношениями к нам Германии. Надо

считать, что дружба России с Германией нелицемерна и тверда и будет

укрепляться чем дальше, тем больше, распространяясь и укрепляясь постепенно

в народном сознании обеих наций, а потому, может быть, даже не было и

момента для России выгоднее для разрешения Восточного вопроса окончательно,

как теперь. В Германии, может быть, даже нетерпеливее нашего ждут окончания

нашей войны. Между тем действительно за три месяца нельзя теперь

поручиться. Кончим ли мы войну раньше, чем начнутся последние и роковые

волнения Европы? Всё это неизвестно. Но поспеем ли мы на помощь Германии,

нет ли, Германия во всяком случае рассчитывает на нас не как на временных

союзников, а как на вечных. Что же до текущей минуты - опять-таки весь ключ

дела во Франции и в избрании папы. Тут может явиться столкновение Франции с

Германией, теперь уже несомненное, тем более, что есть разжигатели. Англия

об нем особенно постарается, и тогда, может быть, двинется и Австрия. Но об

этом обо всем мы говорили еще недавно. Ничего с тех пор не изменилось, что

бы могло опровергнуть прежние мнения наши, напротив, подтвердилось...

Во всяком случае, России надобно ловить минуту. А долго ли эта

благоприятная европейская наша минута может продолжаться? Пока действуют

теперешние великие предводители Германии, эта минута всего вернее для нас

обеспечена...

1 руководящая идея (франц.).

2 Но как, как (франц.).

3 всегда что-то остается (франц.).

4 агентах-провокаторах (франц.).

5 "Убирайся отсюда, чтобы я могла здесь водвориться" (франц.).

6 недоразумении, путанице (франц.).

7 "Каждый за себя, а бог за всех" (франц.).